ЕВГЕНИЙ ЯКОНОВСКИЙ

ВОДЯНЫЕ ЛИЛИИ

РОМАН

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
Париж 1962

Отпечатано в типографии Л. Андреева, Мюнхен.

ЕВГЕНИЙ ЯКОНОВСКИЙ

ВОДЯНЫЕ ЛИЛИИ

РОМАН

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
Париж 1962

Того же автора:

СОЛНЦЕ ЗАДВОРОК

ХЛЕБ ИЗГНАНИЯ (в печати)

ВОЙНА (в печати)

СУДЬБЫ (в печати)

ТЕРРАКОТОВЫЙ ГАРМОНИСТ (готовится к печати)

Он спал и Офелия снилась ему
В болотных огнях, в подвенечном дыму.
Она музыкальной спиралью плыла,
Как сон, отражали ее зеркала,
Как нимб окружали ее светляки,
Как лес выростали за ней васильки...

Георгий Иванов

I

Сквозь сон он слышал, как дворничиха подсовывала что-то под дверь. Писали ему мало. Иногда брат из Америки. Письма были в длинных узких конвертах с трехцветной каемкой и интересными марками. Брат был филателистом и просил марки ему отсылать. Почти всегда были фотографии: брат, жена и их дети — у них было шесть сыновей — у большого деревянного дома, или в автомобиле. Как-то раз даже на фоне Ниагарского водопада. Письма и фотографии вызывали в нем всегда недоверчивое удивление.

Брат, уже старый человек, бывший летчик еще в царское время, работал на спичечной фабрике.

Здесь, во Франции, или даже в любой стране старого континента, он едва заработал бы себе на комнату для прислуги на мансарде и покупал бы одежду и обувь на толкучке. Там у него был свой дом в семь комнат, электрический холодильник, телевизионный аппарат и, даже, большой, на всю семью, Шевролет.

Чаще всего приходили повестки налогового инспектора, письма из страховых компаний, и извещения о митингах, устраиваемых профессиональным союзом собственников наемных автомобилей, то есть, на обиходном языке, шоферов-такси одиночек, ездящих на собственной, не компанейской машине.

Писем от брата он не ждал, так как совсем недавно получил письмо, как раз с фотографией всей семьи у Ниагарского водопада и с описанием путешествия по Канаде, и поэтому повернулся на другой бок и попытался заснуть снова. Вставал он не раньше одиннадцати, а письма разносились в половине десятого. Можно было поспать еще полтора часа. Это было даже необходимо, так как в противном случае у него была бы под вечер обязательная мигрень.

Но сон не шел. Опять совсем отчетливо, как на экране кинематографа, выплыло ее лицо, и одновременно давно уже знакомые тоска и тревога им завладели. Он уже знал, что больше не заснет и потянулся к ночному столику за папиросой и зажигалкой. Через железные жалюзи брезжил серый и рассеянный парижский день. С улицы доносились его обыкновенные, повседневные шумы. Рядом, в окне кухарки из богатой квартиры пятого этажа, весело чирикала канарейка. Все было на своем месте в крошечной комнате. Темный резной буфет, занимавший добрую треть комнаты, большой радиоприемник с пик-опом, столик в ногах кровати и, между столиком и стеной, маленький раскидной диванчик.

Он вспомнил, как в первый раз она забралась на диванчик с ногами, забилась в самый угол, как будто его боялась, и смотрела на него испуганно и недоверчиво. Как будто бы этой девушке, давно познавшей парижские тротуары, было страшно, что вдруг он тоже захочет поступить с ней так, как поступали бесчисленные партнеры квартальных потанцулек. И ему непонятно было тогда, требовала, ли она от него быть не таким как все, или просто он был для нее старым и, может

быть, даже отталкивающим. Он ее успокоил и сам сказал ей, смеясь, что он старый, и ему казалось, что скорее всего таким она его и принимала и только поэтому забилась в угол и поджала ноги в дырявых башмаках.

Чтобы оторваться от воспоминаний о ней, он сделал несколько гимнастических упражнений, не вставая с кровати, и только потом резко поднялся. Было еще слишком рано, чтобы идти на базар. К полудню цены снижались, и не стоило торопиться. Он поставил воду на электрическую плиту, аккуратно отгороженную от остальной комнаты перегородкой из фанеры, в которой он проделал даже окно. Получалась совершенно отдельная кухня. Она говорила ему: — у тебя совсем, как у одинокой девушки, все так чисто и аккуратно. И все есть, даже иголки с нитками.

Опять он думал о ней. Это становилось совершенно нестерпимым. Ведь нельзя же было назвать это любовью? Хороша любовь! Уличная потаскушка, вдобавок ленивая, серая, глупая, думающая только об удовлетворении своих инстинктов, да и то непосредственных. Хочется спать, значит спать немедленно. Захотелось жрать! — Заплачет, если останется голодной. А вообще, чтобы поспать и пожрать, готова на все. Вот и пришла к нему, потому что была голодной и негде было спать в ту ночь, когда он ее встретил.

* *
*

Он остановил машину около ночного кафэ для шоферов и другой мелкой публики: дешевых проституток, ночных лакеев, ожидающих утреннее метро, мелких су-

тенеров и воришек, просто пьяниц и людей, пропустивших последний пригородный поезд и, чтобы не заснуть, на скамейке, бродящих из кафэ в кафэ.

Ночь была февральская, холодная. Шел мелкий дождь вперемешку со снегом, и работать было трудно. Старые шины скользили по обледенелой мостовой, и он с раздражением думал о том, что больше ждать нельзя и нужно обязательно купить хотя бы две новые на «задний мост». А те, которые сейчас на заднем мосту, пошли бы вперед.

Следующую машину он непременно купит у Ситроэна с передними ведущими колесами, — не так заносит. Теперешняя быле уже очень старая, и часто клиенты обходили его на стоянках, предпочитая такси с модными аэродинамическими кузовами.

Он сразу ее увидел, войдя в кафэ, хотя из-за дождя и холода было людно и шумно. Были и пьяные. Кто-то ссорился у стойки, ругаясь хриплым голосом.

Музыкальный автомат наигрывал модный свинг. Двое молодых людей гоняли шарики электрического биллиарда. Она стояла за биллиардом, прислонившись к выступу стены. Опытным взглядом человека, десятки лет прожившего в гуще людской толпы, он постарался определить ее место в жизни. Одета плохо и слишком легко для февраля. Ботинки? Чтобы рассмотреть ее обувь, ему пришлось пройти к стойке и повернуться.

Башмаки были легкие, дешевые и кожа наверху промокла. Наверно подошвы были дырявые. Безработная горняшка? По всей вероятности. И наверное решилась на тротуар, но не хватает ни смелости, ни практики. Жалко, конечно, но причем тут он? Он заказал кофе с

ромом, как всегда. Гарсон*) его узнал, посетовал на непогоду, на усталость. Иногда, по знакомству, он наливал в его рюмку старый ямайский ром за цену обыкновенного. Все равно в такой толкучке хозяин заметить не мог. Налил и теперь, подмигнув глазом. Потом незаметно подошел русский ночной шофер и хлопнул по плечу, отчего он вздрогнул и расплескал кофе.

— Владимир Павлович, век вас не видел!

— Не хлопайте меня по плечу, — ответил он раздраженно, — у меня артрит, да вот и кофе разлил. — Про себя подумал: лезет еще к людям с юнкерскими манерами.

— Ну извините, дорогой, — сконфузился шофер, — это я просто очень обрадовался. Действительно, вас на прежних стоянках больше не видно. Потом он долго говорил о плохих делах, о болезни жены, об угрозе войны, о приближающейся старости.

— Вымираем, батенька, вымираем, — говорил он почти с удовольствием.

— Через десять лет не останется ни пажей, ни институток, а председателем обще-воинского союза, будет какой нибудь поручик.

Думать о старости и о смерти он не любил и совсем не переносил когда о них говорили.

— Ну, нужно работать, — сказал он, чтобы прервать нить разговора.

— Поль, сколько с меня?

— А вы бы еще ромку, — предложил шофер, — оно хорошо в такую ночь.

Знакомый шофер относился к нему почтительно, хо-

*) Гарсон (от фр. garçon — мальчик) — мужская прислуга в кафе и ресторанах.

тя был старше его летами, за то, что он был из дворян, учился когда-то в кадетском корпусе, а отец его еще до революции дослужился до генерала.

— Ну хорошо, только на быстроту, — согласился он и снова увидел стоявшую у биллиарда девушку.

На этот раз он разглядел ее внимательней. Она рассеянно и устало смотрела по сторонам, и, повидимому, никого не ждала. Это предположение понравилось ему больше первого, — так сразу и на тротуар? Мысленно он обозвал себя старым циником. Почему в голову обязательно лезут грязные мысли, Что знал он об этой девушке, почти ребенке? Может быть у нее какая нибудь драма? И конечно нет дома. Вероятно давно не ела и негде спать. Из-за того, что негде спать, не обязательно идти с кем нибудь. Вот и греется по кафэ, благо не гонят. И наверно, совсем не опытна, так как не пошла в Армию Спасения, где ее накормили бы и уложили спать. И как еще никто к ней до сих пор не пристал? Молодая, хорошенькая, беззащитная.

Ему стало жалко девушку, стоявшую за биллиардом, и в этот момент глаза их встретились. Они у нее были большие, серые и смотрели на него с испугом и надеждой, как будто она ждала этого момента и этого лица в большом и грязном кафэ, в котором она провела уже много времени и рассмотрела сотни лиц.

Кроме испуга и надежды — вот он, тот, кто должен меня спасти, и кто он? — была усталость и уже примирившаяся с будущим покорность Быстро, до боли он это почувствовал и на секунду у него потемнело в глазах.

Нет, он все-таки не мог пользоваться положением. Он постарался убедить и пристыдить себя, но стыд не шел, а наоборот то темное, что только что прошло перед

глазами, теперь равномерно, физически ощущаясь, разливалось по телу.

— Ну, за ваше здоровье! — прервал его шофер, — на кого это вы засмотрелись? Ничего себе девченка. Только берегитесь! Такая чорт знает чем наградит! — он жирно захохотал.

«Подите вы ко всем чертям», — хотел сказать Владимир и еле сдержался. Все это было чрезвычайно глупо. Не везти же ему, пожилому человеку, аккуратному, бережливому, рассудительному, эту девочку к себе? Тут он поймал себя на мысли, что до того, как шофер прервал своим ромом и глупым хохотом логическую последовательность развития сегодняшней авантюры, еще не совершившейся, но решенной, он эту авантюру не только принимал заранее, но уже не мог от нее отказаться.

«Я покормлю ее и уложу спать на диванчике», — сказал он сам себе и с облегчением почувствовал, что способен это сделать.

Так было лучше! Бедная девчонка! Он опять посмотрел на нее. Она продолжала смотреть в его сторону прежним, почти неподвижным взглядом, в котором надежда и страх — уже не боязнь, а самый настоящий страх — то быстро, быстро чередовались, то смешивались, когда от быстроты это чередование путалось, и тогда взгляд делался совершенно сумасшедшим.

Странно было, чего она боялась? Его? Или может быть просто боялась, что он ее не позовет, и что ей придется продолжать стоять у косяка за биллиардом и ждать? Кого? Какого чуда? Каждую минуту ее мог заметить какой нибудь профессиональный сутенер. И она будет совсем без защиты.

— Послушайте, я очень занят, — сказал он шоферу.

Имени и отчества он не помнил. Может быть и не знал. Выходило сухо и почти грубо. Как будто он просто выгонял человека. Но шофер не обиделся, а только растерянно и удивленно на него взглянул. Потом засмеялся искусственным, ироническим смехом... Мы, мол знаем в чем дело и очень даже сочувствуем.

— Да, да, извините пожалуйста, но я хочу остаться один...

На этот раз он уже просто выгонял своего собеседника И самым категорическим образом, как будто бы он был хозяином кафэ и выпроваживал нежелательного посетителя.

Шофер продолжал делать вид, что он очень хорошо понимает положение и совсем не обижается и потому находил нужным это подчеркнуть.

— Уж пойду, Владимир Павлович, уж пойду... — он хитро подмигнул, — вот оно, что значит быть красивым мужчиной.

Красивым он не был, а считал себя даже просто некрасивым, и шутка шофера о его мужской красоте неприятно напомнила ему его же собственное о себе мнение. Кроме того он чувствовал себя старым. Слава Богу под пятьдесят. В этом возрасте отец был уже генералом, носил седеющую бороду веером и с удовольствием изображал из себя старика. Он же был всего ночным парижским шофером такси, по старому извозчиком, полтавским одноконным Ванькой, которого называли на ты и тыкали кулаком в загривок нетерпеливые седоки. Здесь, в Париже, хотя не били по шее, но ругаться — ругались.

Шофер позвонил ложечкой о пустой стакан.

— Не беспокойтесь, я заплачу.

— Ну нет, как это можно? Я пригласил, я и плачу, — шофер делал вид, что искренно возмущается несправедливостью такого предложения. — А это... — Он опять подмигнул — не уйдет...

Пришлось стиснуть зубы чтобы промолчать, не послать его ко всем чертям. К счастью подошел гарсон быстро подсчитал, пересыпая подсчет шутками, взял у шофера кредитный билет и пошел в кассу за сдачей. Шофер долго жал руку, делал вид, что торопится. Для этого он тряс руку быстрыми, почти припадочными движениями. Потом сделал у самой двери легкомысленный знак рукой. — Наше, мол, вам с кисточкой. Ужасный дурак! И что может быть хуже дурака на свете?

Только когда стеклянный барабан двери повернулся и скрыл шофера, он снова взглянул на девушку. Повидимому, она уже не ждала его, так как лицо ее не выражало больше ничего, кроме безграничной и тупой усталости. Но встретившись снова с его взглядом, она вспыхнула так быстро и так внезапно, как будто бы ее неожиданно и резко вырвали из глубокого сна. Казалось, что она даже не понимала, что с ней происходило и почему лицо человека около цинковой стойки кафэ было уже знакомым и так ее волновало.

Это длилось одно мгновение, во время которого он не слышал ничего, кроме биения собственного сердца. Сердце билось сильно и глухо, совсем как бьет кулак по телу. Он видел, как она несмело и искусственно улыбнулась. Вероятно он сам улыбнулся ей в ответ, так как она вдруг вышла из-за биллиарда и двинулась к стойке. Несколько шагов , которые отделяли ее от стойки, шла она вечность, и каждый шаг ее ног, обутых в промокшие туфли на резиновой подошве, совсем не

слышный на мокром кафельном полу кафэ, гремел в его голове как колокол.

Она остановилась как-то боком, опустила голову и сказала хриплым голосом:

— Добрый вечер! Какая погода!

*

* *

Вскипевшая за перегородкой вода, оторвала его от событий февральской ночи. Он выключил электричество и отлил половину воды в большую белую с цветочками чашку, а кастрюльку поставил на полочку под умывальником. Пока он пил кофе, вода остывала, и можно было бриться, не ошпаривая щек кипятком. Повернувшись снова от умывальника к столу, он заметил голубоватый конверт под дверью и только тогда вспомнил, что шорох этого самого конверта его и разбудил раньше времени, и что встал он, собственно, только потому, что хотел знать кто ему пишет. На вид конверт был официальный, с напечатанным «ан-тетом» в левом углу и без марки. Налоговый инспектор? Страховка? Все они требовали денег и угрожали всевозможными карами за опоздание. Вплоть до распродажи, а в случае, когда имели дело с иностранцем, даже до высылки.

Он с трудом нагнулся, последние дни очень болели колени, совсем по старчески, казалось ему, и поднял конверт. Еще не найдя очков, с трудом разобрал подпись: комиссар полиции пятнадцатого района города Парижа и, жирными буквами, срочный вызов.

Он даже заволновался. Неужели штраф? Или еще какая нибудь гадость? И за что? Должно быть ошибся

какой то постовой полицейский и записал его номер на ходу. Провинностей против правил езды за собой не припоминал. Он надел очки и заметил, что руки его дрожали. Повидимому нервы были совершенно расстроены, чтобы он мог волноваться из-за такого обычного в работе шофера такси пустяка.

Но комиссар полиции вызывал его всего лишь в качестве свидетеля в столкновении двух автомобилей на уличном перекрестке. Собственно, даже столкновения не было, а просто одна машина неловко выезжала задним ходом из почти непрерывной ленты движущихся автомобилей и на нее натолкнулась другая, обходящая слева. Он вспомнил теперь, как ругались и чуть не вступили в драку шоферы, на вид мелкие коммерсанты. Один из них уже размахивал тяжелым английским ключем перед лицом другого, когда подоспел полицейский. Он тогда же, на месте, взял его показания. Но вот теперь вызывали снова. Он посмотрел на дату. Завтра в одиннадцать утра точно. Слово «точно» было жирно подчеркнуто. Значит, завтра тоже придется встать в половине десятого. Впрочем, незачем было так раздражаться. Нужно было бы вообще последить за собой. Дрожат руки, а вызов в полицию в качестве свидетеля, кажется чуть ли непоправимым несчастием.

Он сел к столику на табуретку и начал пить кофе, стараясь не думать.

II

Приняли его не сразу. Он долго сидел на темной деревянной скамье, в прокуренной приемной, на ледяном февральском сквозняке. Курил, смотрел на проходящих людей, нервничал от ожидания и головной боли. Дома у него была целая аптека, и давно уже обыкновенные патентованные лекарства на него не действовали, или действовали слабо. Доктор из русских армян, который лечил его уже лет пятнадцать и с которым они вместе старели и поэтому, сами того не замечая, сделались друзьями, хотя даже не знали имени и отчества друг друга, дал ему порошок «собственного изделия» и для «собственного употребления», предупредив, что лекарство убийственное даже для лошадиного сердца. Но порошки были совершенно чудодейственными. Дать еще доктор категорически отказался. Хохотал:

— Что вы, батенька? Проще уже прямо в Сену, дешевле и радикальнее, да и мне на каторгу не хочется.

Потом стал серьезным.

— Вы напрасно так пичкаетесь лекарствами. Все лекарства вредны для организма. Мы их придумали, чтобы избежать последствий библейского проклятия, ну и платим днями нашей жизни. Да, да, остановленная сегодня головная боль — это день, а может быть и больше жизни нашего сердца. Впрочем. не только лекар-

ства. Вот вы пьете. Пейте, я не хочу сказать, что вы пьяница, — снова засмеялся доктор, заметив, как при слове пьете, лицо клиента передернулось. Потому что, в конце концов, пьяницей он был. Но пьяницей себя считал, хотя проводил очень витиеватую и условную границу между пьяницей и алкоголиком. В частности алкоголик напивался от одного стакана вина, а ему, чтобы почувствовать опьянение, нужен был целый литр. Алкоголик чувствовал себя несчастным без вина, а пьяница мог совершенно свободно без него обойтись. Но вот он не мог завтракать без вина. То есть, конечно мог, но с вином все казалось лучше, и если он и не чувствовал себя несчастным, то во всяком случае делался раздражительным.

С тех пор как она ушла, он пил больше. Одно время после войны, подходя к пятидесяти годам, он пить перестал почти совершенно.

Начал снова с ней, так как она, по французски пила за едой. Запил, когда она ушла. Не работал целую неделю, но спохватился. Не стоило думать о ней. Вот от мигрени перешел на порошок, от порошка к словам доктора, от доктора к вину и опять к ней.

«Потаскуха! — подумал он злобно, — оставила бы меня в покое».

Он не расслышал своей фамилии произнесенной по французски с ударением на последнем слоге. Фамилию повторили громче и грубее, сопроводив комментариями на тему о занятости господина комиссара и советом обратиться к врачу по ушным болезням раньше, чем представляться в официальное учреждение.

Он растерянно вскочил и заикаясь от волнения и от

этого еще более чем обыкновенно путаясь во французских фразах, начал извиняться. Потом ему бывало всегда стыдно и он обещал себе следить за собой. Но каждый раз когда он имел дело с полицией, или вообще людьми официальными, он делался заискивающим и почти подобрастным. И вот теперь тоже он снял, скорее даже сорвал с головы, темно синий берет и мял его на груди обоими руками.

Красноносый чиновник с грязным воротничком рубашки и черными налокотниками на рукавах, посмотрел на него с ленивым презрением и молча указал на закрытую дверь.

Постучать и после отворить дверь и войти, когда равнодушный голос лысоватого человека, сидящего с наклоненной головой у письменного стола — сказал, — войдите, — стоило ему большого усилия.

— Садитесь, — сказал человек, все еще не подымая головы и протянул перед собой руку, — ваш вызов! — Он поймал бумажку и, не читая, положил на стол. — Карточка иностранца, шоферские бумаги, — продолжал полицейский чиновник и, наконец, на него посмотрел. — сядьте же, наконец.

Сесть до сих пор он не мог, так как пришлось лезть за бумажником в карман пиджака и, главное искать возможность передать бумаги в висевшую в воздухе руку, но он извинился, как будто был в этом виноват, называя человека господином комиссаром.

— Я не комиссар, а инспектор криминальной полиции, — сухо сказал человек, и бормоча себе под нос, начал читать отпечатанную на машинке бумагу.

Слово «криминальная» взволновало его ужасно. И

совершенно непонятно для него самого. Хотя, что было удивительного в том, что инспектор принадлежал к криминальной полиции? Была повреждена машина, был уличный скандал с дракой. Все это подлежало уголовному суду, а все что этому суду подлежало... Нет, все было совершенно нормальным и обыденным в таких делах, а сам он был самым обыкновенным свидетелем, которого допрашивают скорее для формы, так как, конечно, полиция знает хорошо, кто прав, кто виноват.

Положительно его мозг не соглашался сегодня ни с какими доводами логики. Вот хотя бы утренняя газета, лежавшая на столе, рядом с бумагами, которые читал инспектор. Газета была развернута на рубрике происшествий, что было тоже совершенно нормально для места, в котором он находился. Жирными черными буквами было напечатано — прочел он наоборот, напрягая зрение: «молодая утопленница Сюренской плотины хранит тайну своей смерти».

Он опять взволновался, представил себе молодую, красивую девушку с полузакрытыми глазами и в мокром платье. Даже не в платье, а в прозрачной рубашке, через которую просвечивает розовое тело. Такой наверно нашли Офелию. Дальше прочесть он не мог: шрифт был слишком мелким, хотя еще лет пять назад, он легко прочитал бы всю заметку.

Инспектор перестал бормотать и вдруг громко произнес его фамилию, отчего он вздрогнул и приподнялся на стуле. Но так повидимому полагалось, и инспектор совсем не хотел пугать его или бранить.

За фамилией последовали год и место рождения, профессия, национальность, словом все, что стояло в его

карточке иностранца. Кончив он спросил: правильно? И не ожидая ответа, скороговоркой стал читать. протокол, составленный постовым полицейским, подтвержденный свидетелями и в их числе им самим, и зарегистрированный дежурным инспектором.

А он все смотрел на черные буквы заметки и думал об утопленнице Сюренской плотины. Всех парижских утопленников находили там. Мутная и быстрая река рано или поздно выносила их к шлюзам, и они всплывали, качаясь на мелкой волне, чудовищными потерявшими цвет и форму мешками. Эта тоже. И наверно пароходные винты и мостовые быки, о которые ее било волной, ее обезобразили, и всплыла она не Офелией, в венке из водяных лилий, а вот этим страшным мешком.

— Подтверждаете-ли вы ваши показания?

— Да, господин инспектор, — очень трудно было оторваться от Сюренской плотины.

С одной стороны был Булонский лес, сейчас в феврале голый и пустынный, с вороньими гнездами на деревьях, с редкими автомобилями на асфальтовой дороге, шедшей по берегу, с закрытыми на зиму купальнями. С другой — длинные серые корпуса заводов Пюто и Сюрена *) и пустынная в рабочие часы набережная. Река разделялась в этом месте на два рукава, и оба рукава были перегорожены плотиной, над которой проходил мост, освещенный ночью красными огнями. Шлюзы были у Сюренского берега. Буксирные пароходы и моторные баржи держались поэтому левой, сюренской стороны. Утопленники не выбирали. Река приносила

---

*) Рабочие пригороды Парижа.

их со стороны Сен-Клу и била о плотину, пока они не всплывали.

Здесь завершались молодые любовные драмы, и длинные жизни, не выдержавшие, перед концом, нищеты или одиночества, сюда приплывали зарезанные в драке пьяницы и задушенные в припадке ревности неверные любовницы, неосторожные прохожие, нечаянно оступившиеся в темноте на набережной или подрезанные в узкой улице Латинского квартала сутенеры, нарушившие законы преступного мира, спортсмены с перевернувшейся душегубки и неудачливые агенты контр-разведок всего мира.

Интересно, способна ли была Тереза кончить жизнь самоубийством, как вот эта, о которой писала газета? Конечно, нет! Ее могли только зарезать и бросить в реку, как падаль. И наверно, так она и кончит. Какой нибудь начинающий сутенер, хотя бы ее брюнет прирежет ее даже не за измену, а за то, что она отдает деньги другому. Может быть и прирезал уже.

Вдруг все стало ясным для него. Как он не подумал об этом раньше? Его совершенно нечего было вызывать в полицию для подтверждения уже взятых с него показаний. И эта газета раскрытая так, чтобы обязательно притянуть глаза сидящего на стуле. на котором он сидел, к заметке об утопленнице Сюренской плотины! Все это было полицейской штучкой, чтобы заставить его признаться.

В чем он должен был признаться, он еще не знал. Но полиции всегда нужно, чтобы человек признался. Из профессионального самолюбия должно быть.

*

*   *

Он не заметил как заговорил. И с удивлением услышал свой собственный голос. Голос не мог быть чужим, так как, кроме полицейского инспектора и его самого, никого в комнате не было. Это был его собственный французский язык, с неправильностями в глагольных формах, с перепутанными мужским и женским родами, с русским акцентом, смягчающим твердое французское «э» и переделывающим «о» в «а», и с бедным лексиконом человека, вращающегося среди шоферов такси, завсегдатаев дешевых кафэ, и женщин уровня поденщиц и базарных торговок.

Итак говорил он сам и говорил об утопленнице. Он, конечно, отлично понимал, чего хотел от него господин инспектор криминальной полиции. Только господин инспектор ошибался. Терезы он не убивал и старался о ней забыть.

Тогда, в феврале прошлого года, он подобрал ее из жалости, голодную и оборванную, готовую на все. Он даже не тронул ее приведя домой. Он готовил что нибудь поесть, а она сидела на диване, поджав под себя голые ноги. Туфли были рваные, и чулки промокли почти до колен. Чтобы она не пугалась его, он разговаривал и все больше шутил и старался на нее не смотреть. Потом он положил ее спать на кровать, а сам лег на диванчик. Раздевались они в темноте, и он дал ей свою пижаму. Она почти сразу заснула и очень храпела, должно быть от усталости и простуды. Он сам долго не спал, — мешал ее храп, — и очень волновался. О! совсем не волновался так, как может быть думает господин инспектор. Хе-хе!

Он посмотрел на инспектора с надеждой, что тот улыбнется. Но лицо полицейского чиновника было ску-

чающе бесстрастным. Конечно, для вида только.

Заснул он только под самое утро и проснулся от звука осторожно затворяемой двери. Сначала он подумал, что она его обокрала и ушла. Но ее туфли стояли под радиатором центрального отопления и чулки висели на спинке стула. На всякий случай он посмотрел в бумажнике. Деньги были целы Услышав легкие шаги босых ног в коридоре, он сделал вид, что продолжал спать, и не заметил, что она выходила.

Потом она села на кровать с ногами, согнув их в коленях и упираясь в колени подбородком. Сквозь полуоткрытые веки он видел ее профиль и часть голой ноги. Она о чем то думала и от усилия морщила лоб. Наверно она решила, что ей делать, и он вдруг испугался, что она уйдет и он опять останется один, как был одним всю жизнь. Он застонал, как бы во сне, чтобы отвлечь ее от мыслей и возможного желания уйти, и повернулся на другой бок. Теперь он ее видеть больше не мог, но слышал как она встала, стараясь не шуметь пружинами старого матраца, и начала ходить по комнате. Вот пошарила на ночном столике и чиркнула спичкой. Ага! хотела закурить... Потом чем-то шаркала по полу и долго что-то терла около окна. Вошла в кухню и зазвенела аллюминиевой посудой. Щелкнула выключателем, открыла кран умывальника, и было слышно как вода наполняет какой то сосуд. Все это было удивительно и волнующе.

Никто, кроме его самого, никогда не прикасался к посуде, не зажигал электрической печки, не ходил босиком по комнате. К себе он не впускал никого. Под никем, разумелись женщины. Горничные и кухарки ниж-

них этажей, жившие в таких же как его, комнатах в его коридоре, часто с ним заигрывали и просто напрашивались. Для них он был серьезным и положительным человеком, шофером такси с собственной машиной, привозящим каждый день деньги. Почти богачем! Даже то, что он был иностранцем не имело значения. Он отлично понимал их происки. Пусти такую в свою комнату хоть раз, и на следующий день она въедет с чемоданами, бросит работу и начнет изображать законную жену.

А вот эту, которая сейчас возилась у электрической печки, он не только впустил, но и сам подобрал на улице и привез. Интересно, что она делает? Он боялся пошевельнуться, чтобы ее не испугать и продолжал лежать неподвижно в неудобной позе на боку, носом к спинке дивана.

Он слышал как она раскрыла дверцы шкафа и звенела чашками и чайными ложечками. Все это у него было совсем как в семейном доме, хотя никого кроме редких приятелей, старых товарищей по корпусу, которые иногда приводили к нему своих жен, он не принимал. Теперь ему было приятно, что она найдет в буфете целое хозяйство. И все чистое, аккуратное, расставленное в геометрическом порядке. Как будто всю жизнь он ее ждал и только не знал дня когда она придет и, не зная дня, покупал, начищал, стирал пыль и расставлял по полочкам.

Приятно запахло горячим кофе. Вот что она делала! Варила кофе. Занималась хозяйством. Как настоящая, самая обыкновенная женщина.

Она ставила что то на стол. Вероятно чашки. Резала хлеб. Он догадался по звуку. Потом, попрежнему тихо ступая босыми ногами, подошла к нему и остановилась.

Наверное не решалась его разбудить. Со сладким нетерпением он ждал ее голоса или жеста, и почти сердился от нетерпения. Наконец она робко дотронулась до его плеча и шепотом сказала:

— Вы спите? Кофе готов.

Тогда он обернулся сразу всем телом и так быстро, что она испугалась и инстинктивно отпрянула. Теперь он видел ее хорошо, несмотря на полумрак комнаты. Она была смешная и трогательная в его широкой пижаме, а испуганное выражение, медленно сползавшее с ее лица еще больше подчеркивало ее молодость. Сколько могло ей быть лет? Восемнадцать? Двадцать?

— Доброе утро, — сказал он. — Как вы спали?

— Хорошо, мсье, спасибо. — Она называла его мсье и видимо очень стеснялась и робела. Он мог встать выпить кофе, дать ей кредитный билет и сказать: прощайте. Или? От мысли у него потемнело в глазах. Но ведь и она это знала и, может быть, ждала и хотела. Это «или» было необходимым условием для того, чтобы остаться в этой уютной комнате, открывать дверцы буфета, варить вкусно пахнущий кофе на электрической печке. Так уж было в жизни. Лет тридцать разницы. Она как будто поняла его мысль, так как сказала: — Вы гораздо моложе, чем я думала вчера. Это наверно от электрического освещения.

— И опять напомнила ему, что кофе остынет, и если он любит горячее. . .

Но он молча взял ее руку в широком длинном рукаве полосатой пижамы и потянул к себе. На секунду он почувствовал как ее рука напряглась сопротивлением, но потом сразу обмякла.

. . . .

Полицейский инспектор посмотрел на часы. Был час аперитива, и в угловом кафе его ждали коллеги. Пожалуй, в первый раз за всю свою карьеру он подумал с сожалением, что придется прекратить разговор с клиентом полицейского участка.

— Ваша подруга была брюнетка или блондинка? — Спросил он. Вопрос был важный. От ответа зависело дальнейшее.

— Блондинка, — ответил шофер. Блондинка с голубыми глазами.

Инспектор вздохнул с облегчением. «Нет, конечно этот странный русский не был убийцей, но наверно был на границе сумашествия. Отправить его в амбулаторию при Префектуре? Но тогда у него отберут шоферские бумаги. Может быть навсегда».

— Утопленница — брюнетка — сказал он, — придите завтра в десять сюда же и попросите меня. — Он назвал свою фамилию.

— Не забудете? — Холодные серые глаза полицейского смотрели почти ласково.

III

Инспектор криминальной полиции принимал его за простачка — приходите завтра! — А до завтра соберет целую кучу косвенных доказательств и вместо того, чтобы мило улыбаться и жать руку, как это он сделал только что, наденет ему наручники.

Он шел по улице и саркастически улыбался. Брюнетка! Брюнетка! Какие у полиции, все-таки, грубые уловки! Поехать в морг, посмотреть самому? Но мысль о том, что он может увидеть ее неподвижной на мраморном столе мертвецкой, прикрытой белой простыней, привела его в ужас. В мертвецкой он уже бывал, — куда только не попадает шофер такси? — но видеть ее на том же столе, на котором лежали обыкновенные бездомные босяки и безвестные пьяницы, раздавленные на улице, было совершенно нестерпимо. Нестерпимо и невозможно! Вот именно невозможно! Она и смерть! Это было слишком дико, — он даже улыбнулся.

Конечно утопленница Сюренской плотины не могла быть Терезой, и инспектор говорил правду. Все дело было в его расстроенных нервах,и он был смешон и жалок в полицейском участке, рассказывая свою жизнь первому попавшемуся инспектору. И даже не жизнь, а гораздо больше. Разве можно рассказывать не только вот такому полицейскому инспектору, но даже само-

му близкому другу о том как он нашел свое единственное счастье, и как это счастье от него отняли?

Он шел пешком и знакомый, ставший почти родным город, вероятно от непривычки видеть его с тротуара, казался чужим и враждебным; дома странно высокими, люди неприветливым и насмешливыми.

Ну, разумеется, он заслуживал насмешки и не было ничего удивительного, что прохожие над ним издевались, Вот, например, эта толстая усатая баба, по виду торговка-лоточница, только что вышедшая из кафэ, в котором выпила не один стакан аниса. Почему она на него так уставилась? Подойти к ней, спросить вежливо и твердо, что ей от него нужно? Пожалуй узнает по акценту, что он иностранец и начнет кричать, что от иностранцев во Франции нет больше житья. Лучше было не обращать внимания.

Или этот мальчишка в ярком галстуке с копной черных волос на голове. Сказать ему: молокосос, ты еще только петушок и не знаешь, что такое настоящее счастье. Вот ко мне оно пришло в пятьдесят лет. А? Не веришь? Пришло, а потом его отняли, но оно было, было, было! А ты петушок, и петушком останешься. Так оставь меня в покое!

Но мальчишка мог нагрубить, даже ударить. После двух войн молодежь погрубела окончательно и потеряла всякое представление об уважении. Не драться же с мальчишкой? Он постарался не смотреть на лица встречных. Вот сейчас он позвтракает дома, сварит себе кофе и, как всегда, пойдет в гараж за своей машиной. Все будет привычно и хорошо: блестящие от фонарей мокрые февральские мостовые, залитые огнями кафэ, цветные рекламы кинематографов, темные силуэты

людской толпы на тротуарах, вереницы машин сзади, спереди, сбоку, нетерпеливые гудки «частников», напряженное внимание, которое мешает думать и вспоминать.

*

* *

На тротуаре, возле самого дома возились маляры в белых блузах. Они были уже утром, когда он выходил. Разгружали что то из грузовика. Теперь уже поднимались легкие железные леса. Странно было, что леса ставили именно в этом месте, как будто нельзя было их поставить правее или левее. И вообще фасад дома совершенно не нуждался в ремонте. Возможно, что все это опять было полицейскими штучками. Он больше не удивлялся, а скорее возмущался. Нанимать рабочих, ставить леса, тратить столько денег! И ради чего? Чтобы ночью наблюдать, что он делает в своей комнате? Не проще и не дешевле ли было сегодня утром предъявить ему обвинение и арестовать на месте? Ну что они могут увидеть или даже найти в его комнате, пробравшись с фасада по карнизу в его отсутствие?

Но вдруг вспомнил, что среди старых фотографий, заполнявших ящик ночной тумбочки, была его собственная, в форме Шпееровской организации немецких времен. Как он до сих пор ее не порвал? Вот и предлог для ареста: служба у немцев и ношение немецкой формы. Пойди потом доказывай, что к немцам его послало бюро по регистрации безработных его же собственнего участка. Доказать, что он убил Терезу не смогут, так как не убивал же он ее, а она сама ушла тогда

ночью и не вернулась, а вот в отместку пришьют ему службу у немцев. Скажут еще, что был в эс-эсах, благо форма у них тоже черная, как у него на фотографии.

В комоде найдут альбом с порнографическими фотографиями, которые он собирал годами. Альбом стоил больших денег, и приятели ему завидовали. Как-то был у него Федя с женой. С Федей он когда-то учился в кадетском корпусе, и он знал про существование альбома. Он вытянул его из комода после завтрака, на котором изрядно подпили.

— Ну, Ленка, иди к окну и полюбуйся.

Сами они сидели за столом и делали вид, что забыли и про Елену Ивановну и про альбом, а на самом деле наблюдали за ней оба с затаенным дыханием. Говорили на разные темы, не слушая друг друга, бросая украдкой взгляды в ее сторону.

Сначала она сказала:

— Какая гадость! — захлопнула альбом, но осталась у окна, как будто ее интересовал вид на серые парижские крыши и на далекие трубы центральной электрической станции. Потом посмотрела в их сторону и убедившись, что они на нее не смотрят и вообще заняты разговором, снова раскрыла альбом. И тогда они пьяно и грязно подмигнули друг другу. Но как он сам ни был пьян, ему стало стыдно за Федю и жаль Елену Ивановну. После случая с Еленой Ивановной — у нее покраснело лицо и блестели глаза — он не решился показать альбом Терезе. Она наверно сама его нашла, но ничего ему не сказала.

После той ночи она сразу сделалась хозяйкой в его комнате. Хозяйка жила в ней, как в большинстве женщин. Уже тогда, когда он лежал отвернувшись к сте-

не дивана и делал вид, что спал, она почистила его ботинки. Он помнил, что никак не мог объяснить себе странного шуршанья за спиной. Ботинки она почистила по профессиональной привычке. До него она была горничной в буржуазном доме, на одном из бульваров, идущих вдоль Булонского леса. Увидела грязные башмаки и немедленно их вычистила. Нужно же было чем то заполнить жизнь, и каждый заполнял ее по своему.

Тогда он три дня не выезжал на работу, а в первый день вышел только, чтобы сходить на базар. Готовил он сам, сияющий, счастливый и многоречивый. Она так и оставалась в его пижаме и все больше молчала.

Позже он понял, что лексикон у нее был очень бедный и состоял из крестьянского диалекта Нормандии и странно вмешанных в него слов и выражений босяцкого жаргона. Сам он говорил по французски плохо и обыкновенно стеснялся вступать в разговор, ограничиваясь стереотипными фразами из профессионального лексикона. С ней в этом отношении было очень легко и она, повидимому даже не отдавала себе отчета, в том, что он плохо знает французский язык.

В первый день они много пили, слушали пластинки и даже пытались танцовать под единственный старый фокстротт, который у него нашелся. Пластинок у него было много, но все больше классической музыки. Бетховена, Шопена, Чайковского, или русских песень в исполнении Жаровского хора, Шаляпинских соло и литургических песнопений.

Через месяц она пожаловалась на то, что в его коллекции не было ничего веселого, и он купил несколько пластинок с джазом, и песенками Эдит Пиаф. У Пиаф тоже не было ничего веселого, но пластинки понра-

вились ей очень, вероятно из за того, что бывшая уличная певичка, сделавшаяся, совершенно для себя неожиданно знаменитой певицей с мировым именем, пела о бедных и темных девушках, живущих на парижских мансардах, и мечтающих о любви, которая вдруг приходила к ним в виде кудрявого механика или мелкого служащего с блестящим пробором на голове с поздравительных открыток для модисток и вторых рук модных салонов.

Но это было через месяц, и она уже начинала скучать. Он сам ей казался уже, наверно, таким же скучным, как шопеновские вальсы и таким непохожим на героев из песенок Эдит Пиаф.

*

* *

Первые дни она покорялась с покорной готовностью всем его желаниям, вся еще под свежим впечатлением ощущения голода и бездомности, и принимавшая все, лишь бы снова не очутиться посреди холодной февральской ночи. Долго ли этот странный старик собирался ее держать?

На второй день он оставил ее одну совсем рано и ушел хитро подмигнув — приду к завтраку. Взял ее ботинки и портфель. Может быть боялся, что она уйдет? Значит не хотел, чтобы уходила. От этой мысли она успокоилась и с наслаждением заснула, одна на широкой кровати-диване.

Он разбудил ее стуком в дверь:

— Открой. У меня заняты руки.

Она с трудом вернулась к действительности и долго не соображала где она, и что делает в этой комнате, и кто это стучит и требует чтобы ему открыли?

Он вошел веселый и шумный, нагруженный картонками, с туго набитым портфелем и базарной сумкой, из которой выглядывали цветные горлышки бутылок и желто-пунцовый букет цветов.

Начал с цветов, нашел в буфете вазу, деловито вымыл, все время на нее оглядываясь.

— Ты лежи, отдыхай. — Налил воды и аккуратно расправил букет.

— Это на стол. А это — на тебя. — Он раскрыл большую плоскую картонку, вынул из нее, ловко его расправив на лету, дамское пальто.

— А ну ка, ну ка, встань. —

Она поднялась как была, босиком и в пижамной курточке сверх блузы, сразу, по женски взволнованная неожиданной обновкой. Пальто было очень хорошего качества и носило марку большого магазина из квартала Оперы. Таких пальто она не носила никогда и видела их только на своих хозяйках и их знакомых.

И по цвету и по покрою оно к ней не подходило. Слишком темное для молодой женщины, слишком элегантное, чтобы носить его без шляпы. Но она этого не видела и не могла видеть, привыкшая одеваться в случайные и дешевые вещи. Глаза ее наполнились восторгом и благодарностью. — Это мне? — спросила она с восторженным недоверием, любуясь собою в зеркало. Вместо ответа он поцеловал ее в шею, в еще почти детские завитушки волос, и она повернулась к нему и обняла...

В другой картонке были туфли на высоком каблуке, такие самые, о которых она всегда мечтала и никогда не могла купить. Покупала низкие, удобные для работы и прочные. Чулки были из американского нэйлона.

Потом они ездили вместе выбирать платье и белье, и

он из деликатности закрыл черным чехлом счетчик автомобиля. Она сидела рядом с ним, зябко к нему прижимаясь, изо всех сил стараясь его любить.

— Вы влюблены, бедный Володя, — сказала ему с комическим сокрушением Елена Ивановна, прощаясь с ним в тот вечер, когда он привез Терезу к своим друзьям. Вместе с Терезой он привез водки, дорогих закусок из русского магазина и даже шампанского.

Сказала это так, как будто бы он не имел права пользоваться жизнью. Какое ей было дело? Он не был виноват в том, что она родилась женщиной, а в женщин ее возраста больше не влюбляются, и даже ее собственный Федя ей изменяет при каждом удобном случае. Весь вечер она ясно ревновала к молодости Терезы и вела все время разговор по французски, постоянно обращаясь к Терезе. Тереза отвечала односложно вульгарными словами парижского жаргона и, кажется, чувствовала, что иностранка нарочно заставляет ее говорить при нем и на всевозможные темы, чтобы он мог убедиться в том, что его молодая подруга необразована, вульгарна, груба и даже просто неумна.

Под конец Тереза грубила уже нарочито, и смотрела со злобой на Елену Ивановну, которая, как бы не замечая, продолжала с ней разговаривать, сохраняя приветливую, чуть иронически снисходительную улыбку на лице.

Получалось: нашли в кого влюбиться? Да посмотрите на нее, послушайте ее. Как будто бы молодость не извиняет все? Вот смотрела же она сама альбом. И наверно не думала об интеллекте его персонажей и о том, вульгарны они или нет, и знают ли хорошо синтаксис.

Альбом! Его нужно было немедленно уничтожить, по-

ка полиция не сделала в комнате обыск. Альбом и фотографию в немецкой форме.

Хорошо, что они не успели еще дотянуть лесов до его этажа. Не рассчитали голубчики! Маляров не знаете. Эта публика работает с прохладцей.

Старый лифт поднимался бесконечно долго, отсчитывая этажи металлическими ударами контактного ролика, дребезжа решетчатой дверью, скрипя рассохшимся деревом кабинки. По мере того, как поднимался лифт, все больше и больше спирало его сердце, и капли холодного пота выступали на лбу и на висках. А что если они уже там? Ведь полиция делает засады, чтобы захватить сообщников. Может быть они думают, что он торгует такими альбомами, что он просто сутенер и Тереза работала на него?

Работала и вдруг не захотела. Вот он ее и убил. Совершенно нормальное для полиции объяснение. Самое обыкновенное сведение счетов в мире сутенеров, торговцев наркотиками и апашей.

У него дрожали руки, когда он вставлял ключ в замочную скважину, но никого в комнате не было. Был беспорядок, такой для него раньше необычный: была нестертая за неделю пыль, стояла грязная посуда и смятая кровать не была застелена.

Он сел на кровать, взял голову в руки и заплакал. Он сам не смог бы объяснить почему? Потому-ли, что у него было грязно и неуютно, оттого-ли, что полиция считала, что он убил Терезу, или может быть просто он чувствовал: что то необыкновенное и зловещее происходит в его голове, чего он не понимал и о чем старался не думать.

*

*　　*

Серый четырехугольник окна, с опущенной почти до половины шторой, вернул его к действительности. Нужно было убедиться, к его ли окну тянули маляры свои леса, нужно было немедленно уничтожить фотографию и альбом. Из открытого окна пахнуло холодной парижской сыростью и доносились веселые и громкие голоса, перекликающихся между собой маляров. Он осторожно высунулся почти до пояса, так как карниз ни́жнего этажа закрывал от него фасад. Маляры были уже совсем недалеко, и леса должны были пройти совсем рядом с его окном.

Он стремительно захлопнул окно, и в кухне на стене зазвенели подвешанные на гвоздики кастрюльки и сковородки. Время у него, конечно, еще было но все же нужно было торопиться. Приглашение в полицейский участок на завтра могло быть полицейским маневром, чтобы его успокоить, как могла быть таким же манером постройка лесов. Есть, мол, у тебя еще время. А сами придут вдруг с обыском. Он открыл ящики комода один за другим. Нужно было посмотреть все. Мало ли о чем он мог забыть? За тридцать с лишним лет! Вот он альбом! Его нужно было не только порвать на мелкие куски, но потом эти кусочки вынести и выбросить где нибудь подальше. Может быть даже бросить в Сену с моста. Лишь бы только не заметили. Он разложил на кровати помятый лист коричневой оберточной бумаги оставшийся еще от покупок Терезы, и начал рвать альбом страницу за страницей. Кончив, посмотрел с облегчением на груду картонных кусочков с обрывками фотографической бумаги, на которой местами были еще видны смешные и омерзительные подробности. Потом он нашел фотографию в шпееровской форме и поджег ее

спичкой. Пепел бросил на порванный альбом. Не было больше никаких вещественных доказательств, по каким его могли бы временно задержать, а потом заставить сознаться. Это они умели. И могли еще нагрянуть каждую минуту. Стараясь быть спокойным, он быстро просмотрел письма и фотографии молодых лет. Нашел себя с Еленой Ивановной, совсем молоденькой, на пляже в Нормандии. Снимал Федя, а он чему-то весело смеялся. Вероятно молодости и солнцу. Ну и выпили, конечно, за завтраком тут же на песке.

А вот он один, в старомодном, однобортном смокинге и в рубашке с крахмальной грудью. Это тех времен, когда он был секретарем кадетского объединения и устраивал балы. Настоящие балы с дамами в вечерних туалетах и мужчинами в смокингах и фраках.

Две барышни на диване. С обратной стороны линялыми чернилами написано: «Чудесному и необыкновенному Володичке на память, М.» М — это Муся. Она вышла замуж, родила двух детей и успела умереть. Тогда он мог сам на ней жениться и имел-бы сейчас двух больших сыновей, может быть инженеров или докторов. Сыновья пришли бы вместе с ним в полицейский участок, красивые, хорошо одетые и холодно спросили бы:

— Что вам от нашего отца нужно? Не могли бы вы его оставить в покое?

Даже нет, если бы у него были сыновья — один доктор, другой инженер — не было бы Терезы, и его не вызвали бы в участок.

В те времена танцевали фокстротт, уан-степ и танго. Только начинали чарльстон. Он танцевал хорошо еще с корпуса, и Мусе это очень нравилось.

Тереза тоже любила танцевать, и он раза два сходил

с ней на квартальный бал, на простую танцульку. Но он не умел танцевать ни свинга, ни би-бопа ни даже румбы, а танго танцевал по старому с фигурами. На них смотрели с удивлением и кое кто из подвыпивших даже смеялся.

— Ты не умеешь танцевать, — сказала Тереза с еле скрытой досадой — смотри, как делают другие.

Он покорно пошел к буфету, пил коньяк и красное Божолэ вперемежку и смотрел как Тереза танцевала с нахальным молодым человеком с коком волос, качающимся как уланский султан над его лбом и с по моде заросшим затылком. Молодой человек не совсем прилично ее обнимал и прижимал, а она раскраснелась и весело хохотала. Потом молодой человек куда-то скрылся, и она танцовала уже с брюнетом жуткого вида, уже не молодым — лет под сорок, который держал ее, как держат своих дам сутенеры и апаши из квартала Бастилии, — левая рука на плече партнерши и правая ниже талии, почти на бедрах. С ним она не смеялась и казалась, наоборот, чем-то смущенной и даже испуганной.

Дома они в первый раз поссорились из-за сущего пустяка. Но оба были взволнованы и расстроены. Каждый по своему. А началось с того, что он спросил ее довольно язвительно, с каким котом она танцовала? Да с котом таким важным, что первый ее хахаль больше не подходил?

IV

Теперь он припоминал все подробности, придумывал новые и немедленно принимал их за реальности, виденные им и слышанные. Сорокалетнего брюнета Тереза знала. И знала очень хорошо. Возможно, что как раз от брюнета она и сбежала в ту ночь, хотя для него придумала другое объяснение, которое, если хорошенько разобраться отличалось от действительности только в выборе персонажей. Брюнет ее искал, так как такие господа не отпускают своих дам без выкупа. А так, как она сбежала, то с нее полагался и штраф.

Она обещала ему заплатить, и он временно оставил ее в покое, ждал. Может быть она снова начала на него работать и даже наверное работала, но заплатить не смогла.

Дальше все происходило как в романах Карко и в полицейских фильмах Черной Серии. Убил ее конечно брюнет. Зарезал или задушил и бросил труп в Сену. А обвиняют его, та как полиция не любит нераскрытых преступлений, а он у нее под боком... Год жил с проституткой, работавшей на тротуарах, торговал порнографическими карточками и вдобавок служил у немцев. Не говоря о том, что он иностранец и бывший русский, то есть человек без консульской защиты и за тридцать с

лишним лет надоевший и полиции и общественному мнению.

Другие иностранцы, в одно поколение делались французами, немцами, бельгийцами, словом немедленно приспособлялись к народу среди которого жили. Русские продолжали пить водку и чтобы пить ее открывали свои кабаки рядом с церквями, в которых служили бородатые попы — les popes, — похожие на растрепанного монаха, Распутина, воспитателя царевича.

Кроме того они занимались никому непонятной политикой, интриговали, ссорились, писали друг на друга доносы. Во время оккупации открыто стали на сторону немцев, а теперь повыбирали советские паспорта, и совершенно неизвестно было, кто их имел, и кто нет.

Вот до войны обвинили одного русского армянина в убийстве жены. Кавказец упрямо повторял: не убил и все. По слухам его били, морили голодом, когда это не помогло, упрашивали: — ну сознайся, убил из ревности, получишь три года не больше. Армянин выдержал. Вероятно из своего кавказского упрямства и прямолинейности. А потом нашли и настоящего убийцу.

Себя он знал. И с ужасом почти чувствовал пощечины и удары кулака под ложечку. Слышал грубое ты, угрозы гильотиной. Это было совершенно невозможно и непереносимо. — Какой вздор! — сказал он вслух и вдруг успокоился. Действительно. Из чего он построил всю эту теорию? Из преположения, что утопленница Сюренской плотины не брюнетка, как писала газета и сказал инспектор криминальной полиции, а блондинка, какой была Тереза? А если это так, и Тереза просто работает на сорокалетнего брюнета где нибудь на площади

Республики? Брюнет ее заставил. Может быть угрожал... Ведь ему самому невыгодно было ее уничтожать.

Бедная Тереза! Бедная моя девочка, — подумал он с облегчением и нежностью. Ему захотелось сейчас же немедленно ее найти. Ну конечно она там в кафе, с той стороны площади, где казармы республиканской гвардии. Попроще и подешевле.

Стараясь не торопиться, он сделал аккуратный пакет из обрывков альбома. Альбома ему уже было жаль, но он утешал сам себя, что так уж лучше, на всякий случай. Переодеваться в рабочий костюм не было времени. Кроме того ему придется походить по кафэ и совсем не нужно было, чтобы его принимали за шофера такси. Жалко, что он оставлял комнату в беспорядке. Тереза привыкла к чистоте и аккуратности, и ей будет, наверно, неприятно сегодня вечером. Но это было уж не так важно. Хуже, что придется заплатить брюнету выкуп, но он постарается сделать это в рассрочку.

В дверях он обернулся еще раз. Напротив на дощатой стене кухни на него смотрел портрет отца. У отца были пушистые усы и генеральские погоны с зигзагами.. Над усами смеялась Тереза и не верила, что он генерал, так как во Франции усы носили только жандармы. Он долго объяснял Терезе, что отец был в походной форме и поэтому без эполет. Хлопал себя по плечам, показывая их величину и ладонью отмерял длину золотой бахромы. Она кажется не особенно ему верила. Генеральский сын, в ее понятии, принадлежал к тому непонятному и недосягаемомоу миру, который она имела право только обслуживать, называя его представителей в третьем лице.

Сейчас с отцовским портретом происходило что-то

странное, настолько странное, что он снова приоткрыл дверь, чтобы убедиться, что ему не померещилось. Но генерал с пушистыми усами продолжал саркастически улыбаться. В ужасе он подошел к портрету, уронив пакет с обрывками альбома. Старая фотография смотрела на него спокойными глазами бромистого серебра. «У меня галлюцинации — подумал он — зрительные галлюцинации. Нужно принимать что нибудь против нервов».

*

* *

Выезжая из гаража, он ударился крылом машины в стенку полукруглой цементной рампы, ведущей из верхнего этажа вниз к бензинной помпе. Никогда раньше этого с ним не случалось. Радиус рампы позволял развернуться совершенно свободно, и даже владельцы частных машин, которых пренебрежительно называли воскресными шоферами, стенки не задевали. Помятая жесть крыла отчаянно завизжала и переполошила весь гараж. Сбежались механики и шоферы.

— Эко-ж вас угораздило! —укоризненно покачал головой русский шофер из казаков, не то упрекая его за такой позорный для опытного автомобилиста конфуз, не то сетуя о стоимости будущей починки, — и крыло помято и всю краску ободрали.

Сторож араб, молодой, чахоточный, с великолепными зубами, искренно волновался:

— Ай, ай, мисье Владимир! Рука сегодня нехороший! Ехать не надо: плохой барака! *)

Механики с любопытством его разглядывали. Уже не-

*) Судьба (кабильск.).

сколько дней Владимир казался им странным. Не разговаривал, сделался раздражительным и нервным, даже грубым.

— Ты б, действительно, пошел бы домой Владимир? — сказал старший механик, — оно и ездить с таким крылом неприлично, да и клиент испугается, когда увидит аварийную машину.

И чего они к нему приставали? Что им было от него нужно? С трудом он удержался, чтобы не выругаться громко и грубо, не послать их ко всем чертям и попросить не вмешиваться в его дела.

Он резко дал задний ход и оторвал машину от стены, отчего снова жалобно зазвенела порванная жесть крыла и поспешно рассыпались обступившие машину люди.

— Спятил он что ли? Совсем обалдел парень! Да за это морду бьют! — слышал он, круто поворачивая руль вправо и переводя рычаг на первую скорость.

Кто-то показывал пальцем на лоб, кто-то смеялся. Мелькнуло сокрушенное лицо араба, качавшееся из стороны в сторону в горестном недоумении. Вспомнил, что у него мало бензина, но около помпы не остановился и, быстро выехав за ворота гаража, повернул направо по мокрой мостовой бульвара. Почти сразу кто-то окликнул его: — такси, пст! — и что-то прокричал ему вслед, когда он проехал не остановившись. Нужно было закрыть счетчик чехлом или повернуть флажок на положение «занятый». Не возить же ему сегодня клиентов! Именно сегодня. Сегодня он должен был найти Терезу.

Он видел как это все произойдет. Она побледнеет, но не двинется с места. Будет стоять у цинковой стойки неподвижно в ожидании, когда он ударит ее по лицу. Так у них кончается. Правда, он никогда ее не ударил до

сих пор, хотя она этого заслуживала давно. Но, наверное, она считала, что до сих пор все ее хитрости удавались и он их не видел и только поэтому ее не бил. Не ударит он ее и на этот раз. Возьмет за локоть и больно его сдавит между косточек, но не ударит. И скажет спокойно: садись в автомобиль и поедем в участок. Так как видишь-ли, моя милая, меня обвиняют в том, что я тебя убил и бросил в Сену. Убийство из ревности. Только разве люди, как я, могут ревновать уличных девок? Ты, наверное, не верила никогда, что отец мой генерал? Жандарм, говоришь? Усы смешные? Подожди! Еще минутку, моя милая! И скажешь ты, что на меня то ты не работала, что у тебя был всегда твой Жюль. — Он нарочно назовет брюнета Жюлем, именем, которым на парижском дне называют мелких начинающих сутенеров, еще не побывавших в тюрьме, еще не имеющих закрепленных за собой метров тротуара, еще не показавших себя в поножовщине и только мечтающих об американской машине и о дорогих барах.

И мне совершенно безразлично будет, что в участке арестуют не меня, а тебя, за запрещенную законом профессию, моя милая! Это уже меня не касается никак. Завтра снимут эти дурацкие леса, и никто не будет заглядывать в мою комнату. Больше мне ничего не нужно.

Буду выезжать на работу, как всегда. Буду платить налоги, откладывать в сберегательную кассу. Буду жить, как мне нравится, а не исполнять прихоти жадной и глупой девченки, на которую истратил меньше, чем за год сбережения последних шести лет!

*

*   *

Совершенно автоматически, невидящими глазами, он

вел машину по нужному маршруту, избегая улиц с односторонним движением, останавливаясь перед красными огнями, включая мотор при зеленых, объезжая неосторожных велосипедистов, чаще всего мальчишек посыльных, ловко лавирующих в почти сплошной ленте автомобилей, даже ругаясь иногда грубо, по шоферски, при чужих ошибках. Он улыбался. С веселым и холодным бешенством. Вот сейчас он остановит машину где-нибудь в боковой улице — в этот час нельзя останавливаться на самой площади, да еще со счетчиком такси, хотя бы и прикрытым. Обязательно будет неприятность с полицией! А тут еще, в машине, пакет с разорванным альбомом.

А что будет, если брюнет окажется в кафэ? Мысль пришла к нему как-то вдруг, и от нее захватило дыхание. Подойдет к нему медленно, в развалку, держа руки в карманах, потом также медленно вынет правую, только одну, и, не спеша, возьмет его за галстук. И не говоря ни слова, потрясет и толкнет, и он упадет навзничь, на спину, старый, жалкий, беспомощный, и будет лежать, как перевернутая на спину черепаха. А брюнет, не глядя на него, отойдет к стойке и возьмется за недопитый стакан. И все кругом будут смеяться. И Тереза будет смеяться, хотя на самом деле ей будет его жаль. Но она будет бояться брюнета и не подойдет к нему, не поможет подняться не стряхнет рукой пыль с костюма, не поправит съехавший на бок галстук.

Нет! Если он увидит брюнета, он сам, первый, к нему подойдет. Скажет — давайте говорить, как мужчина с мужчиной. Сколько? Если нужно, он продаст шоферский номер и машину и пойдет работать наемным шофером в компанию. Столько-то со счетчика, плюс чае-

вые. Придется вставать в определенное время и отрабатывать часы, как заводский рабочий. И заработки не такие, как у него, частника.

Он вспомнил, что, как-то Тереза завела с ним разговор на эту тему. Почему он не продаст машину и номер? Ведь это были бы большие деньги! Он тогда удивился. Зачем ей были эти большие деньги? Он и так хорошо зарабатывал и регулярно снимал со своег счета в сберегательной кассе. Для того, чтобы сделать ей удовольствие заказал себе дорогой костюм у портного около собора Св. Магдалины, свозил ее на юг, в Ниццу, и ей подавали каждое утро кофе с булочками в постель, что ей нравилось больше пальм, голубого неба и даже моря, которое она видела в первый раз. На все это не хватало даже его заработка ночного шофера на собственной машине. Тем более не хватило бы заработков компанейского такси.

Возможно, что уже тогда она думала о выкупе для брюнета и только не решалась ему сказать? Или просто ей хотелось, чтобы он купил ей золотые часы-браслет, которые она как то показала ему в витрине ювелира и о которых несколько раз заговаривала. Часы стоили поездки в Ниццу вдвоем недели на две, и он тогда дал ей понять, что такой расход для них совершенно невозможен. — А у жены твоего приятеля, у этой старой стервы, у которой мы с тобой были, не только золотые часы, но и кольцо с камнем.

На этом месте они поссорились во второй раз, после истории с квартальной танцулькой и брюнетом. — Не смей называть жену моего друга такими словами!.. — Кого? Эту стерву? А как же называть ее прикажешь? — Она дама! — крикнул он и чуть не добавил: — Не

то, что ты. деревенская девка! — Дама? Дама? — Она заикалась от волнения и негодования. — Разве дамы. . . — больше она ничего не сказала, так как вдрут поняла, что выдвинула бы единственный аргумент, который у нее имелся в защиту тезиса о том, что Елена Ивановна не могла быть настоящей дамой: с ней, с Терезой, настоящие дамы не разговаривали бы часами, и не приглашали бы садиться за стол. Ей приказывали: — принесите из ванной мой гребешок. Тереза, причешите Фелицию — Фелицией называлась злая, и пожелтевшая от старости болонка. — Или бранили: Тереза, опять у вас пыль на комоде, опять вы забыли сходить за молоком, опять не сдали во время белье, опять проспали сегодня утром!

Опять, опять, опять! Она промолчала, ушла в кухню и нарочито громко гремела посудой. В эту минуту она его ненавидела. Он совершенно неправильно считал, что она не верила в генеральство его отца и в его собственную молодость обеспеченного мальчика, у которого в свое время была на услужении своя собственная русская Тереза. Вероятно он хвастался, когда говорил, что в их полтавском доме было две кухарки и три горничных, но одна была наверное, и он еще мальчиком научился командовать: — Тереза! или как нибудь по другому, по русски, — принесите мне чистый платок! Тереза! Опять вы забыли вычистить мои ботинки! Опять! Опять! Опять! Она злорадствовала, разжигая в себе старую, как мир, социальную обиду маленьких и обиженных людей.

Генеральский сын был шофером такси, то есть попросту извозчиком, на которого кричали недовольные клиенты и следившие за уличным движением полицейские.

И то, что он говорил ей: — Тереза, не подбирай хлебом остатки соуса — или: Тереза, не говори никогда «а», это некрасиво, существует же нарочно наречие «что», и лучше даже извиниться и переспросить — казалось у шофера ненужным и смешным кривляньем. А эта «дама»? Она тоже родилась с горничными и кухарками, хотя наверное врет также, как Владимир, преувеличивая их число. Три горничных и две кухарки могли быть, разве что, у президента республики. Дама!

Елену Ивановну Тереза ненавидела неутолимой и беспредельной ненавистью, как старого смертельного врага, недостигаемого когда-то и никогда не обращавшего внимания на Терезу, на всех Терез всего мира, для которых у него находились только «принесите» и «опять», и который вдруг оказался рядом, за одним столом, в одной обстановке, с одними заботами — заработать, поесть, сэкономить на чулки — но продолжал держать себя так, как будто имел еще право сказать: «принесите» и «опять» и носил золотые часы-браслет.

Часы-браслет нужны были Терезе не из зависти и жадности, как, наверное, думал Владимир, а для того, чтобы оставаться наравне с опустившейся, по ее мнению, до ее уровня, Еленой Ивановной. После этого единственного их визита к маленькому заводскому чертежнику, — Федя получал месячное жалованье, носил чистые рубашки и очень этим гордился, — Тереза потребовала, к большому удивлению своего сожителя, купить ей книг. Он даже обрадовался. В нем продолжал жить дореволюционный русский интеллигент, аптечки, библиотечки!

В Москву! Кроме чеховских рецептов была и чисто практическая сторона в этой, вдруг открывшейся Тере-

зе, любви к литературе. Ей, действительно, нечего было делать. Все пластинки она знала уже наизусть, также, как знала часы радио-передач. Она определенно скучала. Особенно вечерами, когда он уезжал на работу. И ее тянуло вниз, в кафэ, на квартальную танцульку, наконец, просто в кинематограф. Мысль о том, что она могла спуститься вниз одна, без него, пойти в кинематограф, где ее, одинокую, конечно, заметит какой нибудь профессиональный дон Жуан, немедленно подсядет, ну и так далее, как все это кончается, его особенно угнетала.

Поэтому неожиданное желание Терезы читать, привело его в восторг. На следующий же день он поехал в большое издательство Латинского квартала и купил почти всего Достоевского в самом последнем переводе. Сначала он колебался между Толстым и Достоевским, но вспомнил, что когда то, в молодости случайно прочел статью Леона Додэ о Толстом. Сын автора «Писем с моей мельницы» называл Толстого скучным резонером, несносным, как тупая бритва. Впрочем лидер французских роялистов бранил не одного Толстого, а вообще отрицал за русской культурой всякую ценность в длинной и очень запальчивой статье. О Достоевском он не говорил, очевидно не желая вступать в полемику с новой литературной школой, ведущей себя именно от Достоевского и общепризнанным мэтром которой был молодой тогда, и с тех пор ставший знаменитым, писатель, еще не начавший писать полицейских романов, а по примеру своего учителя копавшийся в темноте человеческих душ.

Тереза, конечно, не читала статьи Леона Додэ, но все же она была француженкой и могла разделять вкусы

темпераментного отрицателя Толстого. Поэтому он купил «Идиота» и «Преступление и наказание», и не без тайной мысли, что судьбы павших физически, но воскресших духовно героинь Достоевского заставят Терезу призадуматься. Книжки были с иллюстрациями в футуристическом стиле, который называли теперь «стилем Пикассо». На темном лице Раскольникова, с волосами подстриженными под горшок и в картузе с круглой чиновничьей кокардой, горели белые, огромные и выпуклые, как при базедовой болезни, глаза. Настасья Филипповна в сарафане, похожем на арабские шаровары, жгла кредитные билеты в разукрашенной галльскими петухами, русской печи.

Он все же объяснил Терезе, что Настасья Филипповна была светской женщиной и одевалась по парижской моде, которой придерживалось высшее общество в России. Это должно было польстить национальному самолюбию Терезы и лишний раз подчеркнуть, что если он так уверенно говорил о привычках и нравах русского высшего общества, то только потому, что сам к нему в прошлом принадлежал.

Достоевский Терезе не понравился. Особенно возмутила ее сцена с брошенным в огонь пакетом кредитных билетов. Она даже заставила перевести сумму в сто тысяч рублей в современные французские франки. Получилось что-то головокружительно астрономическое. Десятки и десятки миллионов. Разве можно быть такой дурой? Скорее дураком был сам автор, написавший такую неправдоподобную чепуху. Или этот Раскольников, спрятавший куда то под камешек деньги и драгоценности и ими не воспользовавшийся! С драгоценностями он был, пожалуй, прав и, конечно, нужно было выждать

некоторое время, раньше, чем их продавать. Но на деньгах не было же написано, что они принадлежали убитой старухе? В настоящей жизни все происходило совершенно по иному.

Этим категорическим заявлением кончилось знакомство Терезы с русской литературой, и она еще более критически начала смотреть на него самого и на русских вообще.

*

* *

С трудом он нашел место для машины почти у самого Сен-Мартеновского канала, в полукилометре от площади. Совсем недавняя его уверенность в том, что он почему то сразу должен найти Терезу среди сотен тысяч людей, пешком, в автобусах или в метрополитэне пересекавших в эти часы площадь Республики, сидящих за высокими, застекленными окнами кафэ, стоящих у оцинкованных стоек за стаканом аперетива, вдруг ослабела, как внезапно спущенная пружина и, по мере того, как она слабела, снова, хотя и с большим трудом, возвращалась способность к логическому мышлению.

И опять ему казалось, что все это вздор, что просто у него самая настоящая мания преследования, что он находится на границе сумасшествия, если уже не сошел с ума, что необходимо было немедленно принять какие-то меры, без принятия которых он погибнет. Какие-то голоса, которые, как ему казалось, исходили из окружавшей его толпы, но на самом деле, рождались в его больном мозгу, язвительно спорили с логикой, и временами он сам не знал, что исходит от его собственной воли? Эти голоса, убеждавшие его, что его окутывали полицейские козни, что Тереза ходила по тротуару

на площади Республики? .. И почему, именно, на площади Республики? — вмешивалась логика, но голоса продолжали злорадно доказывать, что брюнет квартальной танцульки мог работать только здесь, в дешевых кварталах восточного Парижа, а не где нибудь на Монтмартре, где другие коты, старые и заслуженные, не дали бы ему места.

— Но ведь даже вы говорите, что Тереза сейчас в морге, что ее нашли в реке у Сюренской плотины! .. — пробовала возражать логика. — А Алмазьян? Ты его уже забыл, мой милый? — издевались голоса. — Когда у шпиков на руках преступление, они обязательно должны найти преступника. Вот и приклеили тебя к сюрэнской утопленнице!

Он сам не замечал, что вслух отвечал голосам, стоя у прилавка первого попавшегося на его пути кафэ.

Что прикажете? — в третий раз спросил его официант с удивлением и тревогой наблюдавший за странным клиентом, что-то шептавшем на незнакомом языке. Он даже прикоснулся к его руке, и это прикосновение вернуло Владимира к действительности.

Кафэ было старое, грязноватое, мирное. Какие-то молодые люди играли на электрическом биллиарде, совсем как другие молодые люди играли в ту ночь, год назад, когда он встретил Терезу.

У стойки пожилая и неопрятная женщина пила красное вино, расплескивая его дрожащими руками.

Чистенький старичек, деловито кряхтя, подбирал окурки. Толстая усатая кассирша дремала за кассой. Еще только начинало темнеть, и до закрытия магазинов было еще далеко. Но уже выходили из своих контор, мастерских и бюро маленькие служащие, швейки,

модистки и прочий мелкий рабочий люд, ухитряющийся не только красиво одеваться на грошевые заработки неконтролируемых рабочими синдикатами небольших предприятий, но и быть по своему веселыми и, наверное, даже счастливыми.

В этот час они веселыми, молодыми и шумными толпами устремлялись к темным дырам входов метрополитэна, не задерживаясь в кафэ. Уличные женщины еще не появлялись.

— Дайте мне кофе, — с трудом заставил себя сказать Владимир, —кофе с ромом! — «Может быть напиться?» с тоской и отчаянием подумал он,лишь бы не слышать этих голосов. — «И сразу, сейчас же поехать к доктору? Даже не к доктору, а прямо в сумасшедший дом, в частный, конечно!»

Он приедет, вызовет дежурного врача, объяснит ему все. Что полиция обвиняет его в убийстве, в торговле порнографическими открытками и в службе в эс-эсах при немцах. Что все это, конечно, совершенная ерунда, но вот с самого утра его все время убеждают, что это правда и, что если не помогут, он, пожалуй, сам в это поверит.

Тереза — совсем не проститутка. Она молодая и нежная. Может быть, не совсем образованная. Ушла от него оттого, что повидимому он стар и скучен, и не купил ей золотых часов-браслета; и что он браслет ей этот купит, как только поправится. Что у него есть еще деньги на счету и он сможет оплатить разницу между той суммой, которая полагается от социального страхования и действительной стоимостью пребывания в частной лечебнице. Плохо было то, что сейчас вечером, в лечебни-

це был только дежурный врач! Какой нибудь молокосос, конечно, который может плохо его понять.

— Дайте мне еще кофе с ромом! — обратился он к официанту.

Нужно было ждать до утра! Это было совершенно ужасно. Где? Только не у себя. В комнате могла быть уже засада, и леса, без всякого сомнения, уже подошли к его окну. Даже, если не будет засады, всю ночь будут смотреть в окно, наблюдая за каждым его движением, слушать все, что ему говорят и что он отвечает. И завтра в шесть утра — это полицейский час, до которого они не имеют права нарушать покой честных граждан, — к нему постучат: — «Именем закона — отворите!» И сразу наручники. — «Попался, старик! С нами не покрутишь!»

V

Елена Ивановна два дня спорила с мужем относительно того, где им поселить приехавшего в шестимесячный отпуск из Индокитая сына, Николая.

Раньше Николка спал на кухне. Когда то ребенком, в детской кроватке, в углу. Кухня была большая и служила одновременно столовой и даже гостиной, так как плиту и кухонный стол с подвешенной над ними батареей кастрюлек и сковородок можно было закрыть драпировкой, такой же самой, как на окне. Позже — на клеенчатом диванчике. Совсем недавно Елена Ивановна купила раскидное кресло-диван под цвет драпировки и Федя не сразу сообразил, что обновка предназначалась для сына и сначала подшучивал над страстью жены к обрастанию обывательским жирком, — только что ведь купили в рассрочку телевизионный аппарат! — но когда понял, что Елена Ивановна решила поселить Николку на кухне, как в старое время, он искренне возмутился.

Парню было двадцать три года, и его хотели снова заткнуть под мамино крылышко! Парень был красив, — в мою семью! Он похож, как две капли воды, на тетю Веру, и у него даже тетин почерк, — уверял Федя, сам далеко не красивый. Парень был французским сержантом (что гораздо выше нашего старорежимного унтер- офицера), на него заглядывались девушки, у него

были большие деньги, и ему придется босиком и на цыпочках удирать из этой самой дурацкой кухни-салона, смазав предварительно все двери, чтобы не услышала мамаша!

Елена Ивановна рассуждала по куриному! Николке следовало нанять комнату в хорошей гостинице, где нибудь неподалеку и оставить его в покое. Даже не заставлять его приходить обязательно к завтраку и обеду, а не то, что положить его спать на раскладном диванчике, из эгоистического желания полюбоваться им, спящим и давать ему кофе в кровать по утрам.

Федя уснащал свою речь циничными предположениями относительно времяпрепровождения Николки, от которых Елене Ивановне становилось совершенно невыносимо.

В ожидании родительского решения Николка спал на кухне почти до полудня, с удовольствием пил кофе в кровати и ходил босиком не для того, чтобы тайком сбежать к ожидающим его снаружи предполагаемым девицам, а потому что после двух лет влажной дальневосточной жары, было очень приятно чувствовать голой ступней холодный и гладкий пол.

Впрочем, уже на вторую ночь он вернулся часа в четыре утра и должно быть, подвыпивший, так как шумно спотыкался и натыкался на мебель.

— Вот видишь, — торжествующе прошептал Федя, я тебя предупреждал!

Елена Ивановна не ответила. Было ужасно больно и обидно, что ее маленький Николка сделался таким же мужчиной, как и все, и, что это было совершенно нормально, естественно и даже хорошо, по словам его же собственного отца. Она вспомнила, как каждый раз ей

хотелось, чтобы Николка остался бы навсегда таким, каким был в тот момент, когда ей этого хотелось. Когда начинал ползать. И не как обычно начинают ползать дети, а на задке, проворно перебирая ногами впереди и помогая себе локтями на манер жокея перед финишем. Потом, когда в первый раз заговорил и придумывал свои собственные слова. Еще позже, когда поднялся вопрос посылать его или не посылать в квартальные ясли. Решили не посылать. хотя он очень скучал один и даже мешал ей работать.

— Никаких французских школ до шести лет! — категорически заявил Федя. — Пойдет сейчас к французам, никогда не будет хорошо говорить по русски и никогда не выучится английскому!

Английскому Николка так и не выучился, но по русски говорил действительно хорошо. А стал не доктором, о чем мечтала она, и не инженером, чего желал отец, а сверхсрочным унтер-офицером французской авиации.

В этот вечер ему наняли комнату — выбирала она сама, и он очень конфузился и старался подчеркнуть перед прислугой гостиницы, что она его мать, чтобы не дай Бог, ничего не подумали, особенно если она придет к нему, когда он будет еще в кровати, — и Николка наскоро поев, только что вышел из квартиры. Внизу, на бульваре, его ждал старый приятель по русскому пансиону — Петя. У Пети был четырехсильный автомобиль, и они собирались, по словам Николки, съездить с визитом к одному из своих товарищей. Федя подмигнул глазом и спросил — блондинкой или брюнеткой был товарищ по пансиону, и что он, Федя, надеялся, что товарищ этот не был в единственном числе.

Почти немедленно после ухода Николки зазвонил

звонок у входной двери. Федя, расположившийся было раскладывать пасьянс, деланно недовольно, но достаточно низко, чтобы новопришедший, еще находившийся за дверью, его не услышал, сказал: — кого это еще леший несет? Отдохнуть не дадут! — На самом деле ему было скучно, и он с любопытством спрашивал себя, кто бы это мог притти к ним в этот час, да еще в пятницу, то есть в день, которым кончалась рабочая неделя на большинстве парижских заводов и фабрик.

— Володя! — услышал он удивленное восклицание жены, — вот никак не ожидали! Вы один? А где же... Елена Николаевна запнулась.

— Это ты Володька? Очень рад, очень рад! — Федя шел по коридору к двери, заранее протягивая руку.— Входи же: холоду напускаешь!

Уже потому, что жена остановилась на полуслове, и что Владимир не входил, а продолжал стоять в слабо освещенном с лестницы четыреугольника двери, он почувствовал, что что-то неладное случилось с его старым товарищем. Подойдя поближе он увидел неподвижные глаза, незнакомую кривую и застывшую улыбку на темном лице.

— Что с тобой Володька? — он втащил его за руку в коридор и захлопнул дверь, стараясь не поддаваться жуткому чувству, внутренне его охватившему.

Владимир пассивно подчинился. Дал снять с себя шляпу и пальто, дал посадить себя в еще неразложенное кресло, купленное для Николки. Кресло заметил — Сколько заплатили?

*

* *

— Николка приехал, Володя, на шесть месяцев, —

стараясь быть радостной и непринужденной, рассказывала Елена Ивановна.

— Ах, Николка! — Николку когда-то он любил, и Николка ему платил, кажется тем же. Перед отъездом молодого человека в Индокитай, они даже сильно выпили, случайно встретившись на Елисейских Полях — он с машиной, Николка с какой-то русской Наташей, курносенькой и боявшейся опоздать на последний поезд метро. Наташа пила, как Николка, и явно была влюблена в Николку и, может быть, про последнее метро она говорила только для того, чтобы он подумал, что она обязательно вернется в эту ночь домой. Он тогда бросил работу и возил Николку и Наташу по ночному Парижу, и они целовались за его спиной. Все это было до Терезы, и тогда ему казалось, что так уж и надо было, чтобы целовались эти молодые ,а он их возил и умилялся. Почти по старчески.

Теперь Николка был для него совсем другим. В роде того танцора с уланским султаном вместо прически, с которым, танцуя, смеялась и кокетничала Тереза перед тем, как она танцовала с брюнетом.

— Ах, да! Николка! — повторил он, стараясь быть безучастным. — А я вот к вам. Не ожидали? — Он посмотрел на Елену Ивановну вызывающе и подозрительно. — Меня теперь никто не ждет, знаете? Может быть не знаете? А? Или вам уже сообщили? . . — Он замолчал, тяжело дыша, глядя тяжелыми глазами на перепуганную и ничего не понимающую Елену Ивановну.

Из-за его спины Федя делал ей знаки, показывая пальцем на лоб, как бы ввинчивая палец в черепную коробку и гримасничал ртом. От Фединых знаков и гримас она еще больше перепугалась. Кто сообщил? О чем?

— промолвила она с трудом дрожащим голосом, смотря поверх его головы на гримасничающее лицо мужа.

— Кто? Как будто не знаете? — он рассмеялся хитрым, ерническим смешком. — А знаки кому делаете сейчас?

— Успокойся, Володька! — Федя с силой взял его за плечи. Никто никаких знаков никому не делает, а что ушла Тереза... — он старался говорить быстро, чтобы не позволить Владимиру снова заговорить, но тот все же прервал его:

— Ушла Тереза? А откуда ты знаешь? — Да ты же сам только что сказал, что тебя никто больше не ожидает, ну я и понял, что Тереза ушла. К лучшему это Володька, к лучшему! Ну что она для тебя... — на этом месте он чуть запнулся. Как было назвать Терезу? Горняшкой? Просто уличной девкой? А если он обидится?

Втроем они представляли странную картину в кухне, превращенной темно-малиновыми с зеленым драпировками и гипсовой, под фарфор, вазой с цветами на столе в гостиную. Впечатление гостиной увеличивали две картины маслом, совсем недурные и подписанные довольно известным русским художником уже эмигрантского периода, но написанные еще в то время, когда художник был неизвестен, очень беден, часто голодал и своими картинами платил долг благодарности за яичницу и котлеты, предлагая уже за деньги написать портрет хозяйки дома. Но известным он сделался именно как пейзажист, и когда-то им написанные за яичницу и котлеты миндальные и оливковые рощи Прованса, или, по памяти, заросшие камышом берега Тускаря, разыскивались уже сведующими людьми и поднимались в цене.

Владимир сидел в кресле, и Федя давил крепко на его плечи руками, так, что он даже как-то сгорбился и явно чувствовал себя неудобно. Федя продолжал разговаривать немножко игривым и чуть циническим тоном и не переставал губами, глазами и щеками делать знаки окончательно перепуганной и чуть не плачущей жене.

— Ну, не для тебя она все-таки. Я не говорю, девчонка ничего себе. И хозяйка, кажется, хорошая. Но, ты сам подумай. В этом ведь вся драма русско-французских браков. В свое общество французы нас не пустили, ну и живем мы с горничными и консьержками тридцать лет. Одно встречаться с ними на лестнице, а другое впустить в свою жизнь. Брось, Володька!

Федя старался говорить горячо и убедительно, но было совершенно непонятно, что или кого должен бросить Владимир. Терезу? Но она и так ушла. Горевать о том, что Тереза ушла? Но он сам доказывал, что с Терезами жить было невозможно. Собственно говоря, если бы он мог и осмелился сказать то, что смутно чувствовал и начинал думать, он бы закричал на своего приятеля: — ты что? спятил? А ну ка встряхнись? Не смотри такими глазами, не улыбайся такой улыбкой.

— Хочешь жрать? — вместо всего этого сказал Федя.

Эта последняя фраза вывела Елену Ивановну из оцепенения. Она сразу по хозяйски заволновалась.

— Володенька! У меня чудные котлеты с макаронами под томатным соусом! Ваш любимый сыр! — она не знала какой сыр любил Владимир, и любил ли он сыр вообще, и говорила наугад, чтобы говорить и слышать свой собственный голос.

Он нетерпеливо махнул рукой и на секунду освобо-

дил свои плечи от тяжелых Фединых рук, но Федя снова ловко и крепко их захватил.

— Ничего не хочу! — выражение его лица, только что вызывающее и подозрительное, снова стало хитрым и вкрадчивым. — Вы не думаете, что Офелию утопил Гамлет?.. — Вопрос был так дик и неожидан, что Елена Ивановна раскрыла широко глаза и, несмотря на сверхестественные гримасы Феди, означавшие: ничему не удивляйся и поддакивай — выразила на лице панический ужас, который ею овладел. — Может быть Гамлет ее зарезал и бросил в воду? — продолжал он спокойно, зорко всматриваясь в лицо Елены Ивановны. «Знает!» — стучало в его голове, — «и эта знает! Значит предупредили!»

Она спохватилась.

— Что вы, Володенька? — и деланно рассмеялась, — это не по Шекспиру.

— А почему она плывет в водяных лилиях?

— Ну да, знаете наши кувшинки? Подождите! — Елена Ивановна вышла из кухни.

В коридоре она остановилась, приложила голову к холодному косяку двери. Ужас и жалость довели ее до полного изнеможения. Володя сошел с ума — это было совершенно ясно. И необходимо было что-то делать, что-то сделать немедленно. Сначала успокоить. Водяные лилии? Офелия? Она вспомнила, что об Офелии писал что-то Георгий Иванов. Болотные огни! Слова не припоминались, но где-то была книжка. Лихорадочно она разрывала шкап наполненный бельем, в перемешку с книгами и старыми бумагами.

Мужчины оставались в прежних позах на кухне. Владимир сидел, а Федя давил сзади на его плечи, готовый

опрокинуть своего сумасшедшего гостя на спинку кресла при первой же попытке приподняться. Он злился на жену, не зная зачем она ушла — вероятно просто струсила — и непринужденным тоном жаловался на свои собственные нервы, на усталость от работы, на то, что его все время обходили по службе из-за того, что он не француз; на Николку, ленившегося подготовиться в офицерскую школу и до сих пор не сделавшего никакого подарка хотя бы матери — не говоря о нем самом — несмотря на то, что привез с собой столько, сколько он Федя, зарабатывает в полтора года.

Елена Ивановна вошла с веселой улыбкой на лице, посвежевшая с заново подведенными глазами и ртом, и с белой книжкой в руках.

— Вот вам Офелия, Володечка! И никаких водяных лилий нет! Вот послушайте:

Он спал и Офелия снилась ему
В болотных огнях, в подвенечном дыму.
Она музыкальной спиралью плыла,
Как сон отражали ее зеркала.
Как нимб, окружали ее светляки,
Как лес, вырастали за ней васильки...

— Хорошо? — Она посмотрела на него счастливо-вопросительно, почти успокоенная музыкой стихов, собственным голосом, эту музыку передававшим, и вдруг переставшим гримасничать лицом Феди.

Он слушал жадно, ловя каждое слово, и снова разворачивались перед ним картины, и картины эти были живые, двигались и проходили одна за другой. У Терезы были закрыты глаза и сложены на груди руки. Она плыла быстро, быстро, и было трудно за ней следить. Но он не терял ее глазами. Чтобы не потерять Терезу из

вида, нужно было быстро и плавно вертеть головой, и голова сама без усилия вращалась на неподвижном туловище, и от этого ощущения ему было легко, весело и смешно. Он не понимал только музыкальную спираль и сердился на то, что в стихах не было водяных лилий.

Теперь он вспоминал. Лилии он видел и лилии-кувшинки. Как на Воркле под Полтавой. Гамлета Тереза не поняла и очень скучала во время сеанса. Потом говорила ему, что таких больших привидений не бывает, и что привидения обязательно в белом, в обыкновенной простыне, и что чаще всего привидения — не привидения, а глупые шутники, хотя все же привидения существуют, хотя делаются все реже и реже. Плывущая в гирляндах водяных лилий Офелия ей не понравилась. Во первых, так не тонут. Утопленники набухают и плывут спиной вверх, так что никак нельзя видеть их лица. Она предпочитала Фернанделя и полицейские фильмы, если в них была любовная интрига. В кинематограф она ходила почти каждый день. Так она ему, во всяком случае, говорила.. От скуки, от того, что привыкла поздно вставать, так как возвращаясь ночью, он ее будил.

Месяца три назад, в лифте, горничная «за все» одной из квартир верхних этажей, сорокалетняя, маленькая, сухонькая и черная, похожая на птицу — и глаза были у нее птичьи, круглые и черные без зрачка — сокрушенно качала головй — ну, куда девченке понять настоящего мужчину! Девченке только ногами подрыгать на танцульке, да на постели поваляться с молодым петухом! Жизни не знают, людей не ценят! Говорила и смотрела на него взглядом, который должен был быть, по ее мнению, выразительным и многозначительным, но который, вероятно, из-за того, что глаза были без

зрачка оставался птичьим и вечно изумленным. Он тогда удивился. К чему это она? Только постепенно все его соседки начали смотреть на него как-то жалостливо.

Кухарки и горничные, старые и молодые! У некоторых были мужья, жившие отдельно, у других приходящие любовники, где-то в деревне — дети. Говорили, что у одной был ребенок от негра, и она его отдала в Общественое Призренье. А пока он еще не родился, уверяла шофера господской машины, как-то пришедшего на восьмой этаж, не заставшего свою подругу, уехавшую с господами в деревню и не успевшую его предупредить, и проведшего ночь в ее комнате, что ребенок от него.

Начали намекать. Сначала обиняками, с равнодушным видом, потом определеннее. — Ночная работа никак не подходила для семейного человека, особенно, когда жена молодая. Тридцать лет разницы! Говорит, что пошла в кинематограф, а пойди, проверь ее. Свободна до трех часов утра!

Нужно было или не слушать, или прижать любую из них к стенке. Буквально. В длинном и грязном коридоре восьмого этажа, с мансардными окнами, из которых была видна Эйфелева башня и весь правобережный Париж с далеким, казавшимся висящим в туманной дымке, собором Святого Сердца на Монмартрском холме.

Прижать и потребовать: а ну, выкладывай на прямую! Но он продолжал молча слушать и опускать глаза. Слова оседали где-то около сердца, накоплялись, бродили совсем физически, так что ему иногда казалось, что под сердцем у него бурлит, что какие-то пузырьки рождаются, набухают и лопаются, оставляя после себя едкую и липкую слякоть.

С Терезой он начал хитрить. — Была в кинематографе? Что видела? — Тереза пыталась рассказывать, и непонятно было, выдумывала ли она или не умела рассказать, как не умела говорить. Иногда она загоралась, и видно было, что сюжет ей нравился, но слова выходили у нее такие же неуклюжие, обрывчатые, не связанные между собой.

Или спрашивал, как бы невзначай:

— Ну как танцовалось?

— Я не танцевала — она даже не удивлялась вопросу, а отвечала по существу.

Больше всего они молчали. Обменивались односложными фразами, относящимися к базару, к обеду, к погоде, к работе, к неисправности лифта.

Или слушали радио. Она — французские посты с легкими комедиями и сентиментальными песенками — все про тех же бедных девушек, которым вдруг является любовь в виде кудрявого молодого человека с поздравительных открыток. Он — любимого Бетховена. И тогда она скучала и уже больше не скрывала скуки. Она жила исключительно непосредственными впечатленьями. Не умела ни шить, ни вязать, ни думать. От скуки зевала, ковыряла в носу.

А вот сейчас плыла в гирлянде водяных лилий. Музыкальной спиралью.

— Как по французски водяные лилии?

— Водяные лилии? — Право не знаю. Елена Ивановна опять растерялась. И от неожиданности вопроса — причем тут водяные лилии? — и от того, что не умела ответить, хотя считалось, что она очень хорошо знает французский язык.

— Дай же ему поесть, наконец, Ленка! — деланно рассердился Федя, а то кормишь его стихами.

— А ты у нас будешь спать, Володька! Да, да! — Федя хлопнул его по плечу.

Не мог же он в самом деле его отпустить в таком виде! Владимир явно спятил. Все это было чрезвычайно скучно, сложно и неприятно, даже опасно, и завтра обязательно нужно было запрятать его в лечебницу.

VI

В комнате было темно от закрытых штор, душно от спящих в ней двух мужчин. Пахло табаком, одеколоном, не совсем свежим бельем, молодыми мужчинами и винным перегаром.

— Живо, живо! — будил Федя, отдергивая тяжелые занавеси.

Обыкновенно он шутил, подходя тихо, и вдруг сдергивая одеяло, кричал басом, подражая французским фельдфебелям: debout! là dedans!*) Иногда — летом — даже поливал холодной водой. Всегда внутри себя удивлялся, почему молодой, мускулистый и волосатый мужчина с еще детским лицом, не рассердится, не обругает его, не нагрубит, а будет терпеливо ждать конца неприятной шутки и смотреть на него восторженно покорными глазами? Неужели только потому, что он его сын? Потому, что им обоим сказали, что между ними существует эта кровная связь? Или потому, что в детстве он его учил, наказывал не всегда справедливо, раздражался и кричал или гладил по головке и целовал, и оставался для него единственным авторитетом, даже в том возрасте, в котором подростки обыкновенно решают, что старшее поколение безнадежно глупо и отстало, и заслуживает в лучшем случае иронического снисхождения.

---

*) Эй там! Вставать! (фр.)

На этот раз Федя не шутил и не задавал себе никаких вопросов.

— Живо, Николка! Живо, Петька!

Молодые люди потягивались, сопели, бормотали что-то спросонья.

— Вставай же, Николка! — почти с отчаяньем в голосе умолял отец.

— А что? — Николка сел в кровати, обнажив мускулистый и лохматый торс. Он немедленно натянул на себя одеяло, так как стыдился отца. — Что случилось, папа? — он уже совсем проснулся и заметил, что лицо отца было бледным и расстроенным.

— Володька, то есть дядя Володя. спятил Нужно везти его к доктору, сейчас же, немедленно.

— У меня машина, — хриплым басом проговорил Петька, одним глазом выглядывая из под одеяла, — отвезем. При словах: «дядя Володя спятил» — последние остатки сонливости исчезли, хотя легли они около четырех утра, основательно подвыпившие и усталые. Дядю Володю, конечно, было жалко, но любопытство видеть его спятившим было сильнее чувства жалости. Отец, наверное, преувеличивал, но что-то все-таки произошло из ряда вон выходящее.

— Ты уходи, папа, мы сейчас. Жди нас внизу. Уходи же, мешаешь одеваться.

— Что вы, барышни что ли? — пытался протестовать Федя.

— Иди же к маме, папа! — Мысль о том, что спятивший дядя Володя должен сидеть сейчас с Еленой Ивановной только сейчас пришла ему в голову, и Николка испугался.

— Да там сидит один тип, — успокоил его Федя, —

слава Богу пришел попросить на билет метро, так я его послал за литром красного вина. Сейчас сидит и пьет. Я попросил его подпоить Володю. Ну и ночка была! — При воспоминаньи он взялся за голову. — Ну и ночка!

Молодые люди одевались, неловко стараясь укрыться от старого мужчины.

— Мы с матерью не заснули ни на секунду. Положили его на диване в кухне, да только слышим он все возится, встает, ходит, открывает кран. Чего доброго откроет окно и выпрыгнет с пятого этажа или пустит газ. Тогда и мы вместе с ним — на тот свет, так незаметно, во сне... Ну я и говорю матери; возьмем-ка его к нам в комнату. Встаю, иду на кухню,зажигаю свет, а он сидит за столом уже одетый. Оделся в темноте. Они хитрые — сумасшедшие. Думал: зажжет свет — мы увидим, а что услышим, как он возится, в голову не пришло.

Сидит он и прямо на меня смотрит, да не в глаза, а как-то на грудь. Но пристально, не мигаючи.

— Ты говорит, — тоже с ними заодно! Сколько заплатили?

— Э, думаю, голубчик, ты уж совсем того! И незаметно так двигаюсь в сторону буфета — чего доброго нож возьмет, — а сам уговариваю: — брось, Володька, дурака валять и иди спать в нашу комнату, здесь пол кафельный. Холодно!

Д-да! — Федя, путаясь и повторяясь рассказал про то, как его старый друг приехал к ним под вечер и сразу стал плести какую-то ерунду об Офелии и о полиции, от чего он понял немедленно, что с ним было неладно, и хотя он делал знаки матери, та вначале не пони-

мала и сама цитировала каких-то дурацких поэтов, которые его еще больше расстроили.

А когда его уговорили поужинать и усадили за стол, он начал делать вид, что ест суп вилкой: — я же сумасшедший по вашему. Мать испугалась и незаметно спрятала его нож. Котлеты и макароны он ел руками, заявив, что так ели при Иване Грозном, и что он это сам видел еще в немом кинематографе. И все приговаривал: я то сумасшедший по вашему. И подмигивал глазом и хихикал совсем страшно.

Потом перенесли его диванчик в комнату, и он сам помогал его нести и заботился о том, чтобы не шуметь и не разбудить жильцов нижнего этажа. И все говорили тихонько, так, чтобы Елена Ивановна не слышала: я тебе этого не прощу! Полежал спокойно с пол часа. А дальше началось. Хрипит этаким загробным голосом: у меня сейчас свиданье. Я ему: не дури, Володька, какие могут быть свиданья в час ночи!

Всего Федя не рассказал. Не рассказал как Владимир подполз к кровати на коленях, и они не знали, что делать, испуганные, потрясенные острой жалостью, измученные бессонницей и ужасом. А он в темноте нашел их руки, соединил в своих и уткнулся в них лицом и они оба чувствовали, как текли по рукам теплые слезы, и слышали его сдавленный шопот: Не нужно было ему верить. Не было никакой Офелии, не было ни водяных лилий, ни васильков, не было полиции.

Тереза ушла от него, потому, что он был старый и скучный, не умел танцовать би-бопа. Он сам был виноват в том, что остался один в жизни, в том, что у него не было Николки и старой нежной подруги. Но он все же был человеком, он все понимал и все принимал и

согласен был страдать. Только не нужно было его бросать, оставлять одного. Так же не нужно было его слушать, когда он говорил об Офелии. О прочем вздоре!

Иногда сквозь слезы он смеялся почти счастливо.

У него не было Николки, но были все же старые друзья. Леночка! Федя! Они его не оставят. Не позволят ему упасть в темную дыру, которую видел он, и не видели они. Что не видели они и не понимали, было ужасно. Но он поможет им ее увидеть, и тогда они его удержат.

В темноте Елена Ивановна нащупала выключатель, зажгла настольную лампочку у кровати. Лампа осветила темное лицо, по которому катились слезы, морщины, седые волосы на висках. У нее колотилось сердце. Бедный, бедный, бедный!

Она встала, забыв что была женщиной, забыв, что ночная рубашка была старая, заношенная не первой свежести, что накрашенные днем брови она смыла на ночь и что седеющие волосы были завиты в папильотки. Она села на кровати и положила его голову к себе на колени, не заботясь о том,что он мог увидеть ее старую, потерявшую форму грудь, некрасивые складки на бедрах, синие жилы на ногах.

А Федя лежал и молчал, инстинктивно чувствуя, что он никак и ничем не мог помочь, что вот перед ним женщине, его старой жене, жаловались на другую женщину, и что только она могла понять и может быть утешить именно потому, что была женщиной.

Потом все встали, и как были, неодетые, пошли на кухню, пили на кухне чай, и Федя, по обыкновению, пробовал шутить, а Елена Ивановна рассказывала что-то, не имеющее никакого отношения к этой ночи, и сначала Владимир их слушал, пытался улыбаться и даже

смеялся своим новым, странным, хихикающим, как бы скачущим, смехом.

Под утро ему снова стало хуже. Опять появилась Офелия-Тереза, полиция, опять он порывался уйти, кричал, обвинял их в предательстве.

Соседи слышали, стучали в стену. Он затихал, просил его спасти, свезти к доктору, поместить в лечебницу, не оставлять одного...

*

* *

Февральское утро было сырое, туманное. Уже схлынули первые волны заводских рабочих и мелких техников, и тротуары улиц были почти пусты. Спешили к входам в метро опаздывающие машинистки и продавщицы, открывались с железным лязгом шторы магазинов, пели всегда одним, прошедшим через века речитативом, точильщики ножей, предлагая свои услуги, и скупщики старых вещей, давно заменившие свои ручные двуколки на купленные по случаю, шумные и обшарпанные грузовички, тянули свою, тоже вековую, мелодию на трех нотах.

Сначала зашли в кафэ и пили кофе с молоком у стойки, усталые, измученные, но счастливые от мысли, что этот кошмар должен был скоро кончиться. Он казался совсем нормальным, может быть, чуть усталым, чуть постаревшим, чуть беспокойным.

Проходя, осмотрел внимательно свою машину, оставленную на ночь на улице. Потушил огни и посетовал, что батарея, должно быть, почти разряжена. Спокойно согласился ехать в Петиной машине.

Николка, свежий, гладко выбритый, красивый, от

него не отходил. Смотрел ласково и испуганно и грубовато шутил на тему, что и отец, и дядя Володя уже старые и им работать не надо, ни, тем более, пить водку и интересоваться женщинами, а жить на пенсию и замаливать грехи. Да вот беда, генеральских пенсий Сталин не дает, и вот, что значит, плохо воевали и пенсии не заслужили! Не то, что он, Николка! Два года воевал с москитами в Центральном Аннаме, в тридцать три года получит пенсию и всю остальную жизнь будет пить коньяк и ходить на эмигрантские балы в ожидании падения советской власти и уплаты оброка с мужиков за пятьдесят лет. С серьезным видом высчитал, сколько это составит во французских бумажных франках после второй мировой войны.

Он слушал рассеянно, даже улыбался, и старался думать только о докторе, к которому они сейчас пойдут и о лечебнице, где ему сразу дадут такое лекарство, от которого исчезнет весь этот последний год и все снова начнется с дождливой февральской ночи, той самой, в которую он с ней встретился тогда и не встретится теперь. Но опять ожило перед ним переполненное кафэ, залитое зеленоватым светом неона, электрический биллиард и за биллиардом — она. В стоптанных, промоченных башмаках на мокрой кафели пола.

Месяц назад он решил ее проверить. Надоели жалостливые взгляды кухарок и горничных восьмого этажа, клещами рвали сердце намеки и недомолвки. Старался не показывать, что отравленные женские стрелы попадают в цель и от этого еще больше волновался.

Вернулся домой без четверти двенадцать. Рассчитал так, что если она пошла в кинематограф, то должна была вот-вот вернуться. Но уже выходя из лифта, уви-

дел полоску света под дверью. Она лежала в капоте на еще нераскрытой постели и не очень ему удивилась, и не очень обрадовалась.

А у него кружилась голова от счастья, и он едва мог говорить. Нужно же было что-то сказать? Поломалась бензинная помпа. Плохо работает, просто невозможно пустить в ход. Он даже повздорил с клиентом. Неловко запинаясь, он описал воображаемую ссору с пассажиром, хорошо одетым старикашкой из породы тех, которые всегда все требуют и высчитывают чаевые в процентах.

Ее интересовала не ссора с пассажиром, а счетчик.

— И завтра не будешь работать?

Он ее успокоил: помпа меняется в пять минут. И подумал, что может быть она только делает вид, что интересуется счетчиком, а на самом деле просто хочет знать, будет ли он работать завтра. Ведь не каждый же день у нее свидание? Сегодня он попал на ее пустой день совершенно случайно. Ему не повезло, как вообще никогда и ни в чем не везло.

Однако, вида не показал, что не верит в то, что интересуется она именно счетчиком. Был весел, откупорил бутылку и они второй раз поужинали холодным. Она тоже развеселилась и после ужина была с ним нежна и даже сказала: Какой ты сегодня молодой.

На следующий день он вернулся к одиннадцати, остановил машину у подъезда, прошел через вестибюль не зажигая света, поднялся на седьмой этаж лифтом и, сняв башмаки на лестнице, в одних носках, — он чувствовал холодные бетонные ступеньки и боялся, что завтра заболеет, — дошел до площадки восьмого. В темноте коридора ярко светила щель под дверью. Она опять бы-

ла дома. Он довольно долго простоял, смотря на щель, с башмаками в руках. Потом спохватился, что его могут увидеть, если кто нибудь внезапно зажжет свет в коридоре, и снова вернулся на площадку седьмого этажа.

Итак она опять его перехитрила. Почувствовала своим женским чутьем, что вчера он ей не поверил и теперь наверное будет сидеть дома целую неделю.

Вспоминая об этом, он злобно улыбнулся, и Николка перестал вдруг рассказывать о консоматоршах в аннамитских дансингах и с испугом на него поглядел.

Подъехал Петька с машиной, вошел в кафэ и по французски, открытой ладонью отдал честь, хотя был по моде без шляпы, и Николка снова заговорил шутливо о негритянских женах Петьки, с которыми он разводился ценою швейной машины, причем последняя, из более просвещенного Сенегала, потребовала машину с электрическим мотором, почему Петька, вернувшись во Францию, купил не 11-тисильный Ситроен, о котором мечтал четыре года в Африке, а четырехсильный Рено, в котором приличные люди должны были складываться перочинным ножом.

Рядом с Петей сел Федя, а Владимира посадили с Николкой. Николка был сильный и молодой и, в крайнем случае, мог придержать его на сидении. Мало ли что могло случиться после этой ночи? Федя вздохнул облегченно, когда машина двинулась. Уф! .. До площади прямо, потом направо по бульвару, — сказал он Пете и закурил, жадно втягивая дым. Сзади Николка снова заговорил. — Молодец! — подумал он про сына. — Хороший парень и умница!

VII

Федин доктор был тоже русский, совсем уже старый, помнивший первое представление «Чайки» и японскую войну, презирающий патентованные лекарства и лечивший свою, вместе с ним стареющую клиентуру, от всех болезней средствами начала века.

Федя объяснил. Его приятель спятил из за того, что от него ушла молодая девка. Мелет какую то ерунду об Офелии и о полиции, кривляется, ест суп ножом. Пьет ли он? — Гм, это как сказать. В молодости выпивали все здорово, а теперь наверное кофе с ромом за работой и вино дома за обедом. Как все. — Как все? Доктор возмущался. Разве вы не знаете, что из за того, что во Франции все пьют, «как все», в стране самый высокий процент алкоголиков в мире? — Лучше напиваться по воскресеньям, как русские сапожники. Ну ка, тащите сюда своего друга!

Владимир сидел в приемной, делал вид, что перелистывал иллюстрированные журналы, но на самом деле следил за молоденькой, с бледным лицом барышней, которая вошла за ними и скромно села в углу.

От того, что она чувствовала, что он ее разглядывает, она стеснялась и не знала, что делать со своими руками. То клала их на колени, то барабанила пальцами по столику, то просто перебирала ими в воздухе.

Она была совсем некрасивая, с белесыми ресницами, с острым птичьим носиком, худенькая, почти без бедер. Он смотрел на нее с презрительным неодобрением. Непонятно было кому она была нужна, и почему вот таких не душат и не бросают в Сену уж только потому, что они никому не нужны. И не сходят из за них с ума, как кажется сошел он.

— Разве сказать ей, что я сумасшедший? Самый настоящий сумасшедший, даже согласный ехать, вот сейчас, прямо отсюда, в настоящий сумасшедший дом. Ее птичье лицо станет еще длиннее от страха. Сказать и потом засмеяться, как полагается смеяться настоящему сумасшедшему? — Вспомнил, как когда-то, в молодости, — все, положительно все, кроме Терезы, было в молодости — рассказывали страшные истории... всадник едет верхом, один, ночью, в дремучем лесу и вдруг лошадь останавливается, он дает шпоры, жмет шенкель, пробует хлыст, но лошадь стоит, как вкопанная, и понемногу жуть овладевает всадником.

И тогда лошадь медленно поворачивает свою лошадиную голову в сторону всадника и говорит: бяша. А потом по человечески хохочет.

Вот взять и сказать этой пигалице: бяша, и захохотать.

Напугать бедную барышню он не успел, так как открылась дверь кабинета и Федя поманил его пальцем.

*
* *

Перед доктором он кривлялся. Становился смирно, отвечал по военному: «так точно» и «никак нет», нарочно путал даты рождения и делал вид, что забыл, где он родился.

Только тогда, когда доктор спросил его вдруг:

— А что же говорят вам эти голоса? — он вздрогнул, как от удара хлыста, весь съежился и замолчал.

— Ну? —настаивал доктор, — отвечайте! — но он продолжал упорно молчать. — Смотрите мне в глаза!

Ага! Это было совсем, как в полиции. Смотреть ему в глаза! Старик думал его перехитрить. И все с той же целью. Чтобы он признался. Зачем ему нужно было знать, когда и где он родился. Чтобы проверить потом с протоколом в участке? А «эти» голоса? Рассчитывает убедить его, что все это ему кажется? Чтобы он спокойно вернулся домой и дал себя взять голыми руками? Не тут-то было!

Доктор перешел на ты. Как то вдруг и очень грубо.

— У, пьянчужка паршивая! Отвечать, я тебе говорю!

Вмешался Федя:

— Он пьет совсем мало, доктор.

— Вы, — молчите! обрезал доктор.

А ему стало жутко и весело. Вот оно! Сначала на ты, а потом будут бить. Признавайся! Только он не даст поймать себя в ловушку. Уж слишком белыми нитками все это было шито.

— Отойдите к окну — снова на вы и строго сказал доктор.

Он послушно отошел. В окно была видна свинцовая Сена, серая набережная с голыми зимними платанами. По Сене медленно шли тяжелые, груженные углем баржи, и вода подходила почти под их палубу. Казалось, вот еще немножко и они вдруг затонут и потащут за собой на дно маленький буксир с высокой трубой.

Доктор о чем-то вполголоса, очевидно для того, чтобы он не слышал, говорил с Федей и что-то писал. Ему было все равно, так как он уже принял решение. Все

крутом его предавали и ему изменяли, но у него было достаточно собственного здравого смысла и он, слава Богу, не был уже маленьким мальчиком.

Вот Федя повысил голос. — Что же делать, доктор? В голосе была нотка отчаяния. — Придется ждать до понедельника утра. — Но я же должен работать! Наконец, это просто невозможно. Еще две ночи! — Потом они снова понизили тон разговора, но все же некоторые слова доходили. Полиция... шоферские бумаги... будут держать сколько им заблагорассудится.

Федя шумно вздохнул.

— Сколько с нас, доктор?

— Ничего.

— Но у нас деньги есть. И деньги, и страховка.

— Ничего — повторил доктор. — Не забудьте немедленно зайти в аптеку. До свиданья. — Он пожал руку Феде и подошел к нему. — Разглядываете? Летом здесь очень красиво.

— У вас никогда не тонут баржи? — спросил Владимир — вот, посмотрите, палуба от воды на десять сантиметров... только они, конечно, сразу идут ко дну... не то, что утопленники... Хе, хе, — он хитро поглядел ему в глаза, но тотчас опустил свои. — Утопленники плывут до самой Сюренской плотины. Читали, небось? Только зачем из блондинки сделали брюнетку, а? — он вдруг закричал, но сейчас же успокоился и, стараясь быть логичным и убедительным и пересыпая свои фразы вопросами: не так ли? понимаете? — начал доказывать доктору и Феде, что по существующим законам его, все равно, без адвоката допрашивать никто не имеет права и что в последнее время было достаточно сканда-

лов, и полиция никак не решится на новый, да еще в самой столице.

Федя уже вел его за руку через приемную комнату, а он продолжал говорить и разводить руками. Некрасивая девица в испуге вскочила с кресла и этим привлекла его внимание, только что всецело поглощенное монологом. Он остановился, резко вырвав локоть из Фединой руки и, с наслаждением смакуя вид раскрытого от испуга рта и совсем округлившиеся глаза ненавистной пигалицы, низким грудным голосом сказал: бяша! Расхохотался не потому только, что так полагалось по рассказу, но и просто потому, что самому стало смешно.

Хохотал, спускаясь по лестнице и оправдывался перед Федей, что хотел напугать дуру за то, что она такая противная, — фу, пигалица остроносая! — а потом неужели Федя не помнил про лес, ночь и лошадь, которая скалит зубы и смеется, как человек? Самое страшное брат! Страшнее не бывает. А вот видишь, ничего с нею не случилось. Да не держи ты меня так крепко за локоть! Больно! Никуда я не уйду! Это вы все сумасшедшие кругом. . .

*

* *

Николка и Петя стояли у стойки кафэ, потягивая через соломинку мутно-желтый перно.

— В Индокитае — говорил Николка — пьют настоящий абцент. Привозят из Швейцарии. Это не чета этой гадости. С одного стакана балдеешь.

Говорили они по русски к величайшему удивлению и неудовольствию толстого, лысого и небритого хозяина. Ему очень хотелось сказать что нибудь колкое по по-

воду развязности иностранцев, но один из говоривших был в форме старшего сержанта авиации, с ленточкой военного креста и со значками экспедиционного корпуса на Дальнем Востоке. Было очевидно, что он не иностранец. Кроме того, вообще с военными, да еще из Индокитая, связываться было неосторожно. Не говоря уже о том, что красивое лицо сержанта никак не располагало к пререканиям.

По русски Николка говорил нарочно, и говорил громко, чтобы его слышали. Наедине с Петей и другими его русскими товарищами он предпочитал говорить по французски, так как знал французский язык лучше и гораздо шире, и пользовался русским только в семейном обиходе и в случаях особо для него важных, например при объяснениях в любви русской барышне вдруг переходя с французского на русский, как бы подчеркивая этим значительность момента.

На людях же он говорил по русски во первых потому, что это было очень оригинально: французский военный — из за сложности авиационной формы и обилия золотых галунов его часто принимали за офицера — и вдруг бойко объясняется на иностранном языке, а во вторых, чтобы позлить тех, кому это не нравилось — главным образом людей поколения первой мировой войны, с ленточкой фронтовиков в петлице пиджака.

А ну ка, попробуй придраться к французскому военному! Вам не нравится, что я говорю по русски? Представьте себе, что мне в высшей степени на это наплевать. Глагол «наплевать» он переводил по французски совершенно грубо и неприлично, но речь свою произносил спокойно, не поднимая голоса и с очень вежливой улыбкой на лице.

На этот раз, начав говорить с Петей по русски в силу этого своего принципа, он увлекся темой и забыл о толстом и небритом кабатчике.

Разговор шел не только о преимуществах швейцарского абцента, но и о некоей Верочке, о жизни которой очень хотелось знать Николке, причем нужно было сделать это так ловко и дипломатично, чтобы Петя так и не понял, что Верочка его интересует.

И в кафэ это они пришли только потому, что оно находилось на углу улицы, где жила два года назад Верочка, несмотря на то, что поднимаясь с дядей Володей к доктору, отец очень просил его ждать в совсем другом кафэ, на бульваре. Это последнее обстоятельство еще больше волновало Николку и мешало ему быть ловким и дипломатичным в вопросе о Верочке, хотя он и старался говорить о ней деланно равнодушным и даже несколько циническим тоном.

В Верочку он влюбился перед самым отъездом на Дальний Восток, немедленно забыв курносенькую Наташу.

На воздушном вокзале в Бангкоке, в Сиаме, он купил массивный серебряный браслет с изображением богини Бали и выслал его заказным пакетом из Сайгона с пламенным сопроводительным письмом, в котором — писал он его по русски и довольно безграмотно — он предлагал Верочке руку и сердце. Очень долго не получал ответа и думал вначале, что предмет его любви не отвечает ему от избытка счастья и его неожиданности. Он изнывал от аннамской жары, не ходил в дансинги, чтобы не танцовать с грациозными, как статуэтки из слоновой кости, аннамитскими такси-терльс, и пытался писать роман, героем которого был суровый плантатор

каучука, раздираемый любовью к оставшейся в Европе девушке и привязанностью к своей плантации, оставить которую он не мог, не потеряв лица, так как получилось бы, что он бежит от опасностей индокитайской войны.

Иногда плантатор наезжает в город и кутит, пьяный, задирая мужчин и вступаясь за обиженных женщин, обязательно очень красивых и очень чистых, несмотря на профессию танцовщицы или барменши. Впрочем написал он — роман писался по французски — только две первые страницы. Все остальное было в голове и разработано до конца и, таким образом, не представляло никаких затруднений! Стоило лишь сесть и писать страниц десять в день.

Но для этого нужно было успокоиться. А чтобы успокоиться, не хватало ответа от Верочки. Ответа все не было, и прошло уже месяца четыре. Тогда написал он сам. По французски и очень язвительно. Начал с того, что французская почта не советская — Верочка была из новой эмиграции — и письма или приходят адресату, или возвращаются отправителю. И поскольку он, отправитель, не получил назад ни браслета, ни письма, и то и другое логически должно было в свое время достигнуть адресата. Но адресат был продуктом цивилизации отрицающей самую элементарную вежливость, о чем он в свое время не подумал, и четыре месяца удивлялся понапрасну.

На Николкино письмо с относительным разбором старой и новой цивилизаций, Верочка опять не ответила. Николка совсем растерялся. Возможно, что она уехала из Франции и не хотела с ним переписываться. Наконец, с ней могло что либо произойти.

Понемногу Николка успокоился, начал ходить в аннамитские дансинги с фарфоровыми такси-герльс, приняв для себя версию об утилитарно- материалистическом восприятии жизни Верочкой и никак не соглашался с ее возможным замужеством или с несчастным происшествием. Теперь ему очень хотелось пойти в гостиницу, где она жила и спросить о ее судьбе.

Но они стояли у стойки уже с полчаса и он никак не решался приступить к делу. Разве попросить Петьку? Но вот уже полчаса, как разбирал Верочку по всем косточкам, стараясь казаться равнодушным. Нужно было придумать кокой нибудь предлог, чтобы попросить приятеля сходить в гостиницу, входную дверь которой он видел через зеркальное окно кафэ и от которой он почти не отрывал глаз, забыв уже о том, что нужно было позлить хозяина и переходя поэтому в трудных случачаях на французский язык. Но придумать ничего не успел, так как распахнулась дверь и вошел отец.

— Ах, вы здесь? — сказал он по французски и, уже подойдя к ним прибавил по русски: — Я вас, чертей, ищу уже десять минут по всему кварталу. Куда вы забрались? Ведь мы же условились. . .

Николка начал смущенно доказывать, что кафэ лучше, что в нем никого нет — не показывать же дядю Володю в его положении, публике! А здесь — другое дело! А где же он? — спохватился Николка.

— Я как раз и оставил его в кафе, где мы условились встретиться. — Федя говорил раздраженно. Мальчишки вели себя по меньшей мере, легкомысленно. Хорошо еще, что Владимир в кафе успокоился. Там, у доктора, и на лестнице, он только кривлялся. На что было все это похоже! Бяша! И что за дурацкое слово!

— Пошли, пошли! — торопил он молодых людей.

— Выпей что нибудь, папа, а то как то неудобно: пришел, нашумел и ничего не заказал, — успокоившийся Николка начинал по своему обыкновению острить.

— Ну, живо только, — согласился Федя, — с вашим братом только напиваешься. Я и там заказал себе. — Дайте мне красного, — обратился он к хозяину.

— Нет, папа, что нибудь покрепче. Кто же пьет вино в такой холод?

*

* *

Когда минут через десять они вошли в кафе, около которого стояла Петина четырехсилка и в котором Федя оставил Владимира, на цинковой стойке стоял стакан красного вина заказанный Федей и недопитый бокал пива. Одно мгновение он подумал, что может быть Володька спустился в уборную. Но только одно мгновение. На всякий случай он все же указал вдруг ставшему серьезным и даже наблюдательным Николке на лестницу, а сам подошел к стойке.

— Господин в коричневом пальто и берете? Жозеф! — кликнул хозяин официанта. — Ты не видел господина, что пил пиво вот вместе с этим господином?

Худой, с длинными лошадиными зубами, которые делали его похожим на знаменитого кинематографического комика, гарсон чесал пальцами затылок.

— За стойкой вы следите, патрон, — наконец сказал он, — а мало ли людей в коричневых пальто! Как их всех приметишь?

По лестнице подымался Николка и отрицательно мотал головой.

— С вас за пиво и вино, месье! — прекратил ненужный разговор хозяин.

*
* *

Он быстро шел по бульвару в направлении обратном, тому, в котором только что, за поворотом, скрылась широкая и чуть сутулая спина Феди.

Он был очень доволен собою, Федя думал его провести, но провел Федю он сам. Теперь «они» посмотрят. О «них» он думал с ненавистью и с злорадным удовлетворением. «Ими» были все, кто его окружал и с ним соприкасался: чиновник криминальной полиции, веселые маляры, соседки по коридору, Федя с женой и Николкой, Николкин приятель Петька, в автомобиле которого его только что везли, совсем, как пленника, старый и грубый доктор, назвавший его пьянчужкой. Доктора он ненавидел за пьянчужку, за то, что он называл его на ты, и в особенности за то, что он так хитро заговорил с ним около окна. И на вы перешел и даже вежливым стал.

Но как они все не старались, ничего у них не вышло и он шел, свободный, по широкому бульвару, за ним никто не следил и он сам мог позаботиться о себе так, как находил нужным. Во первых взять денег в сберегательной кассе. И побольше. Слава Богу, их было еще достаточно. Терезе так и не удалось заставить его потратить все до последнего сантима. Дудки, моя милая! Уже месяца за два до ее исчезновения, он начал систематически ей отказывать. Чулки? А разве нельзя поштопать старые? Перчатки? — Свяжи себе рукавички. Получается очень красиво и оригинально. И совсем не

его вина, что она не умела вязать. Не умеешь, так научись! Вот ведь научился он вертеть автомобильным рулем.

Но пререкаться с Терезой времени не было. Итак, во первых взять деньги, во вторых — выручить машину, которая стоит на улице, против Фединого дома. Федя наверное будет сторожить его около машины, вместе с Николкой и Петькой. Нужно было что то придумать. И вообще, куда он сейчас шел? Просто убегал от Феди и этих двух здоровых и глупых мальчишек? Первое: сберегательная касса. Он посмотрел на номера домов бульвара, представил себе карту Парижа и мысленно составил себе маршрут. Направо до улицы Н... потом три квартала прямо. Не стоило спускаться в метро или брать такси.

Разрешив первый вопрос, он повернул направо, закурил папиросу и принялся за второй. Выручить машину было много труднее. Не говоря о Феде и его мальчишках, электрическая батарея должна была быть разряжена до конца и, таким образом, даже если бы ему удалось обмануть бдительность Фединой шайки и незаметно сесть за руль, он все равно не мог бы без чужой помощи пустить мотор. Позвонить в гараж и попросить прислать механика? Но Федя мог побывать уже и в гараже и объявить его сумасшедшим. Оставить временно машину на улице? С тех пор, как в Париже развелось столько автомобилей, половина их ночевала на улице за неимением гаражей и это никого не удивило бы. Федя начнет кричать повсюду о его исчезновении.

Он шел, ломая себе голову, волновался. Вдруг вспомнил про механика, работавшего в его гараже и теперь

продававшего подержанные мотоциклетки и велосипеды в одном из восточных предместий Парижа. Раза два-три он у него побывал. У механика много пили, жена его с ним кокетничала и даже переходила границы приличия. Она была еще молодая, но рано потолстевшая от вина и обжорства, с усиками на верхней губе. Такие женщины к старости совершенно расползаются и на подбородке у них вырастают редкие, длинные и седые волосы, как у китайского мандарина, которые они даже не вырывают.

Мысль о механике сразу его успокоила и вернула то веселое и злобно-задорное настроение, с которым он недавно ушел из кафе, в котором его оставил Федя.

— Ты постой здесь, Володька, а я пойду поищу этих дураков, — от дверей он вернулся и спросил: — Ты будешь меня ждать? — Ну, конечно, — ответил он спокойным и безучастным голосом, как будто бы само собой разумелось, что он будет ждать Федю за стаканом какой-то гадости за цинковой стойкой.

В сберегательной кассе все прошло благополучно. Полиция не успела или не догадалась их предупредить. Скорее всего подумали, что какие могут быть сбережения у одинокого русского шофера? Во первых, большинство русских пьяницы и поэтому работают не на своих машинах, а на компанейских, и зарабатывают вдвое меньше.

Чиновник даже на него не посмотрел. Лениво проверил счет, приложил печать на страницу книжки и дал ему круглый металлический номерок для кассы.

В ожидании вызова, он сел на деревянную скамью, ту самую, на которой за прошедший год столько раз ему уже приходилось сидеть. Иногда Тереза его сопро-

вождала и сидела рядом, закусив почему то губу, что сразу придавало ей строгое, почти молитвенное выражение. В ожидании денег, он всегда раскаивался, что вот еще раз приходится снимать крупную сумму со счета и, если так будет продолжаться. . .

Теперь Терезы с ним не было, и деньги были не для Терезы. Собственно, он и сам не знал, зачем ему понадобилась такая сумма? Месячный заработок по крайней мере. Просто почему то хотелось иметь много денег при себе и знать, что деньги эти только для него, что он может их истратить или не истратить, но если истратит, то только так, как найдет нужным.

Если бы с ним была Тереза, она обязательно остановилась бы у витрины первого же ювелирного магазина и молча, и упорно, рассматривала бы золотые часы. Он все равно принужден был бы что-нибудь ей купить. Раз купил даже колечко из позолоченного серебра с аметистом и уверял ее, что это очень шикарно, на что она ответила, что аметист носят только епископы. Но колечко надела и, кажется, все же была довольна. Покупал он ей что нибудь каждый раз и теперь, подсчитывая в уме все, что он истратил на эти мелкие покупки, с горечью убеждался, что давным давно мог купить ей часы, о которых она мечтала, совсем, как ребенок о дорогой игрушке, которую не решались ему купить расчетливые родители, или как негр, которому обязательно хочется, чтобы кольцо, которое он продевает в ноздрю, было самым большим в деревне.

Купил бы тогда часы и не было бы всего этого кошмара. Кошмар начался той ночью, когда, вернувшись, как всегда, около трех часов утра, он ее не застал. — В первый момент даже обрадовался: наконец то он ее

поймал. Вот, посмотрим, с каким видом она сейчас явится! У женщины, которая вам изменила и которая в измене попалась, должен быть вид побитой собаки.

Будет, конечно, что-то врать, как то оправдываться. Он даст ей говорить, сколько ей вздумается, а когда она кончит, когда нечего уже будет врать, когда кончится весь несложный запас ее слов, наконец, когда она устанет и робко подойдет к нему, чтобы попробовать приласкаться, в надежде, что он поверил, или хотя бы сделал вид, что поверил, он встанет, легонько ее оттолкнет и спокойно покажет на дверь:

— Собирай свое барахло, моя милая! Довольно с меня всей этой канители... Иди себе откуда пришла. Может быть хочешь, чтобы я тебя отвез в кафэ, в котором ты ко мне год назад прилипла, потому что тебе негде было спать и ты не жрала два дня?

Идея ему очень понравилась. Отвезти, ссадить и оставить ее за электрическим биллиардом. Заказать у стойки кофе с ромом, спокойно выпить, пошутить со знакомым кельнером и, не глядя на нее, выйти на ночную улицу. Пусть гипнотизирует, как удав кролика, новую жертву. Вспомнил ее глаза в ту ночь и вдруг понял, что ничего ей не скажет, ничего у нее не спросит, никуда ее не отвезет, а будет слушать и верить. Стараться верить изо всех сил. Даже самой нелепости, даже самой неуклюжей лжи. Лишь бы она не заметила, что он может не верить и вдруг бы не ушла сама. За то, что он ей не купил золотые часы, которые ей так хотелось иметь, за то, что он старше ее на тридцать лет. Тридцать лет! Целая жизнь! За то, что он еще смеет ей не верить.

Кассир за окошечком повысил голос: — Третий раз

повторяю номер — он назвал цифру. — У кого номер такой то?

Номерок был у него в руках и он машинально смотрел, не связывая его со словами кассира.

— Это вас зовут месье, — робко сказала молодая женщина, сидевшая рядом и очевидно стеснявшаяся того, что прочла номер в чужой руке, — я нечаянно, — добавила она, покраснев.

VIII

У механика праздновали крестины внучки. Внучка родилась в провинции, где-то у подножья Пиринеев, и на празднике не присутствовала, как не присутствовали и ее родители, и церковная церемония происходила, разумеется, там, где они находились.

Но Рене не мог пропустить такого удобного предлога и — в этом отношении супружеская чета Мориссэ бывала всегда единодушна — в день крещения, о котором дочь предупредила их письмом, выражая надежду, что дед и бабка достойно отметят это торжество, в небольшом домике механика начали пить с десяти часов утра. Сначала сами хозяева, потом пришедшие на аперетив гости.

Завтракать сели уже сильно подвыпившие и, под нестройные песни, сальные анекдоты, хохот мужчин и визг женщин, завтрак незаметно перешел в обед. Вставали, ходили по своим делам, выходили в кафэ, возвращались, кто-то уже ссорился и спорил, сталкивались различные политические мнения. Сам хозяин считал себя коммунистом, что не мешало ему крестить детей и посылать их в школу катехизиса при церкви, праздновать первое причастье и платить своему единственному рабочему минимум синдикальной платы.

К семи часам все общество с гостями — собралось че-

ловек двенадцать мужчин и женщин, не считая полдюжины детей, за которыми давно уже никто не присматривал, отчего старшие расшалились, а младшие начали капризничать — было в самом приподнятом настроении. Уже несколько раз спели недавно вошедшую в моду песенку: «boire un coup, c'est agréable». * Пели по по французски, в унисон, каждый на своей ноте. Женщины пронзительно высоко, мужчины хрипло и низко, поминутно сбиваясь с тона. На столе с залитой вином и соусами скатертью, стояли недопитые стаканы, тарелки с недоеденным холодным жито под майонезом, валялись огрызки хлеба, ореховые скорлупки, шкурки от фруктов, апельсинные корки, вместе с пеплом и окурками из опрокинутых пепельниц.

Из за шума и общего приподнятого настроения, никто не услышал звонка, и Владимир появился совершенно неожиданно в столовой, как бы вынырнув из клубов сизого табачного дыма.

Первой его узнала сама хозяйка.

— Мосье Влидимир! . . — встать со стула ей удалось только после повторной попытки. — Дед, а дед! — Дедом она начал называть мужа, вкладывая в это слово, звучащее по французски гораздо менее интимно, чем по русски, некоторую долю не совсем логического пренебрежения. — Дед, смотри, кто к нам приехал!

Не будь хозяева и гости основательно пьяны, они очень удивились бы, потому, что гость был небрит, воротничок его рубашки грязен, сама рубашка скомкана и измята на груди, а в руках не было ни цветов, ни подарков.

*) Выпить немножко — приятно.

Но во первых, все были давно пьяны, а во вторых механик очень уважал месье Владимира за его манеры, за частые приглашения в кафэ и за щедрые чаевые.

— Messieurs — Dames! *) — закричал он, пробуя в свою очередь подняться со стула, — представляю вам месье Владимира, царского полковника, настоящего «boyard» **) и моего лучшего друга!

Приписываемое им своему неожиданному гостю боярское происхождение и звание царского полковника явно перевешивало в нем коммунистические симпатии.

Он неловко полез целоваться к Владимиру, около которого уже вертелась его жена. Замолчавшие было гости дружно закричали: К столу! Пусть догоняет!

Боярин и царский полковник неподвижно стоял посредине комнаты, улыбался жалкой, страшной, каменной улыбкой. Только глаза бегали в его застывшем лице неспокойные и недоверчивые. Его тормошили, обцеловывали, тянули к столу. Кругом кричали пьяными голосами; кто-то незаметивший новоприбывшего, продолжал в одиночку петь «boire un coup c'est doux», и хозяйка на него крикнула. Наконец его усадили, бесцеремонно согнав со стула пьяненького старичка, который никак не мог понять, почему именно он должен был уступить свое место царскому полковнику, — он, участник первой мировой войны, в которую царь заключил Брестский мир и заставил его лишний год сидеть в окопах на Сомме... Все эти полковники не стоили больше самого царя, с его боярами, избивающими простой народ семихвостыми кнутами.

---

*) Господа и дамы — народное выражение (фр.).

**) Боярин (фр.).

На старичка шикали, а хозяйка даже щипала его через рукав. Кто-то из знакомых с историей пытался восстановить правду и ругал большевиков, но с ним сейчас же заспорили, допуская на этот раз, что изменил Франции не царь со своими боярами, а бородатый монах Распутин, и что это совершенно ясно доказано в фильме. И что поскольку царские полковники не гнушались больше трудовым народом, они были желанными гостями, так как всегда приятно общество образованного человека с хорошими манерами.

Он сам что-то говорил, продолжая улыбаться своей каменной улыбкой, кривившей его лицо и придававшей ему хитрое, какое-то птичье выражение. Пил стакан за стаканом и быстро хмелел. Чувствовал с радостным облегчением, как винные пары вытесняли из головы все, что так его мучило последние дни. Хозяйка сидела рядмо, смотрела на него откровенно влюбленными глазами, старалась при каждом движении к нему прикоснуться. Говорила что-то, чего он не понимал, так как чужие слова перестали для него быть словами, а были только звуками, и ему нужно было делать усилие, чтобы эти звуки превратились снова в слова.

Он заговорил и сам. Прерывал свою речь короткими смешками, подчеркивал смешки хитрыми подмигиваниями: здесь он был среди друзей, настоящих друзей! Жена механика подтверждала, жала ему руку. Конечно, кругом были друзья и, если бы он захотел, даже больше, чем друзья.

Она была еще очень моложавая, почти красивая. Сейчас даже ее полнота казалась ему привлекательной. И она наверное умела жить, не то, что глупая Тереза. Вот,

нравится же ей он.Она жмет ему руки, а теперь даже тесно прижала свое колено к его колену.

Он что-то кому-то говорил через стол, пил стакан за стаканом, веселел. Ничего не оставалось больше от всего этого кошмара. Все было сплошным вздором и ему давно нужно было напиться, чтобы в этом убедиться. А Тереза просто поставила на плохую лошадь. Ведь он мог бы даже на ней жениться. Слава Богу — пронесло!

Тогда ночью, уже под самое утро, когда он вдруг понял, что она больше не придет, что она ушла совсем и что все приготовленные им саркастические и язвительные фразы, равнодушно-невозмутимая поза, ироническая улыбка, которую должна была подчеркнуть папироса в углу рта, что все это было ни к чему, он лег на кровать, потушил свет и заплакал тихими слезами, которых сам долго не замечал, пока не зарыдал и, зарыдав, вспомнил, что за тонкой стеной спит соседка кухарка, и что она может услышать. Встал, давясь от слез, чувствуя, как боль выходила вместе со слезами, а за болью в пустое место шло что-то незнакомое и страшное, вливалось в пустоту едкими волнами.

Тогда все это началось. Брюнет? Это ему нужно было объяснить ее уход брюнетом, создать весь этот уголовный роман.

Он громко хохотал над собой, продолжая разговаривать. — Нет, он никогда не был полковником, но его отец был бригадным генералом. Если бы не было революции? Пожалуй, он сам был бы уже генералом.

Пьяные лица делались почтительными. Кто-то сказал, что работал лет двадцать назад с русским великим князем... да, да, с самым настоящим дюк де Сукат-

шефф. Вот умел человек пить! А выпьет, так поет из всех опер.

Он хохотал еще больше. Дюк де Сукатшефф. Вот подлец! Но знакомый дюка обижался, защищал своего великосветского собутыльника. Дюк был самый настоящий кузен русского царя и целовал ручки всем женщинам, не спрашивая о том, чем они занимались в жизни.

— Ну совсем, как Людовик Четырнадцатый.

— Месье Владимир сам целует руки дамам, — протестовала хозяйка — чем он хуже вашего дюка.

Он начал целовать ее руки. Сначала в шутку, причмокивая, выкатывая, как бы от чрезмерного удовольствия, глаза, поворачивая руку то ладонью, то верхней частью.

Крутом начали смеяться. — Смотри, — кричали механику, — чего доброго у тебя сегодня вырастут рога.

А он чувствовал, как пьянящe тяжело дышала Жермэн, как все теснее и теснее, уж всем бедром к нему прижималась.

Вот, получай, Тереза, глупая девка! На! Смотри, как он нравится женщинам!

*

*   *

Проснувшись, он долго не мог понять, где он. В незнакомое окно с плохо закрытыми ставнями, брезжил рассвет, еще даже не серый, а сине-лиловый, которым он бывает только вначале, и то лишь несколько минут.

Сначала испугался. Но понемногу вырисовывающиеся контуры мебели, пятна картин на стенах, тусклый отблеск стекол пузатого буфета его успокоили. Он не был в госпитале. Госпиталем он даже сам перед собою

мысленно назвал клинику для душевно-больных. Сумасшедший дом!

Потом вспомнил, как приехал сюда на такси, как попал на семейный праздник, как напился, догоняя уже подвыпившую компанию.

Очевидно его уложили спать на диванчике в столовой. Из соседней комнаты, открытая дверь которой чернела в синих сумерках, слышался храп и кто-то ворочался, повидимомоу во сне, так как храп то прерывался с движением, то мерно менял свой звук. Он долго прислушивался к храпу, почти затаив дыхание. Храпела наверное Жермэн, потому что иногда к храпу примешивалось повизгивание, похожее на жалобный стон на очень высокой, не мужской ноте.

Потом прошел по улице автобус, по утреннему резко скрипя тормозами и давая перебои в моторе. Мотор еще недостаточно разгорелся, или сносились сегменты поршней. Эта профессиональная мысль снова его разбудила, так как слушая храп Жермэн, он сам начинал дремать.

Теперь рассвет был уже серым и можно было разглядеть комнату с неприбранным на ночь столом, заставленным пустыми бутылками, недопитыми стаканами и грязной посудой, с расставленными в беспорядке стульями. Тут только он почувствовал, что у него очень болела голова. Во рту было сухо и противно, от неудобной позы на маленьком диванчике, ныло в боку и в плече, подвернулась шея.

Так физически скверно, почти отвратительно, не бывало с ним очень давно, с довоенных времен. На жаргоне пьяниц это называлось кацем. Вместе с кацем приходило убийственное настроение. И было очень странно,

что теперь это чувство отсутствовало. Кац был на лицо. Головная боль, отвратительный вкус во рту, ломота в суставах,даже несгибающаяся шея. Но, вместе с тем, он чувствовал себя странно легко, почти счастливо. Вдруг понял: не было больше Терезы. То есть, не самой Терезы, а всей этой истории. Она приходила и уходила уже не в первый раз, Все это было удивительно странно и он, конечно, был болен. Обыкновенное нервное расстройство, из которого всякие Феди и Елены Ивановны устраивали Бог знает что! Вот действительно прав Крылов: услужливый дурак опаснее врага. Не перехитри он их вчера, сидел бы сейчас в самом настоящем сумасшедшем доме, да еще в смирительной рубашке!

Говорят, что так полагается для всех. Дня три-четыре. И лишь только потом начинают лечить. Здорово живешь! И курить, конечно, не дают. Слава Богу, опасности попасть в больницу Святой Анны больше не было, но оставалась целая куча проблем, которые нужно было разрешить сегодня же.

Во первых, что делать с автомобилем? Рассчитывать на механика, похрапывающего в соседней комнате, было неосторожно. Он проснется, начнет опохмеляться, потом все вместе сядут завтракать и, конечно, выпьют снова. Пропадет целый день, которым воспользуются его враги. В конце концов, не все же было плодом его расстроенной фантазии? И очень было трудно ясно провести линию, разграничивающую действительность от того, что он уже совсем сознательно допускал, как следствие расстройства нервной системы. От переутомления, главным образом и, лишь отчасти, из за Терезы.

Вот например инспектор криминальной полиции? Ни в каком убийстве он его, конечно, не подозревает. Это

сущий вздор! Зато он повидимому уверен, что имеет дело с мелким сутенером. Тем более, что он сам наговорил глупостей. При воспоминании о разговоре в полицейском участке, он даже застонал от досады.

А оставленный на заднем сиденьи машины пакет с изорванными страницами альбома?

Самое же главное было здоровье. Если он не начнет лечиться немедленно, все это наваждение последних дней снова им овладеет. Убитая Тереза в Сене у Сюренской плотины в венке из водяных лилий и в болотных огнях вместо погребальных свечей! Какая чушь! И как не стыдно было Елене Ивановне вкладывать ему в голову такие мысли! Ведь должна же была она видеть, что он нездоров, что у него не в порядке нервы!

Итак, во первых, нужно было выручать машину. На всякий случай позвонить в гараж. А вдруг Федя дал им уже знать? Это осложнило бы положение, так как из гаража могли позвонить в полицию, что шофер такси, номер такой то, исчез и его машина найдена пустой.

В зависимости от того, звонил ли Федя в гараж и, если звонил, то как к этому отнеслись в гараже, зависел дальнейший ход действий. Но действовать нужно было немедленно.

Он с трудом приподнялся на диванчике и начал приводить себя в порядок. Спал он почти одетый, сняв лишь башмаки и пиджак и распустив узел галстука. Стараясь не шуметь, нашел в полутемноте башмаки, подтянул галстук. Рука накололась на острую щетину бороды. Не брился он уже третий день. Не брился и почти не умывался, не менял носков, спал две ночи в рубашке и она должна была теперь походить на грязную, смятую тряпку.

Нужно было обязательно привести себя в порядок: побриться, пойти в баню, купить новую рубашку и носки. Но он вспомнил, что сегодня было воскресенье, что магазины были закрыты и в парикмахерских, которые работали только до полу-дня, нужно было долго ждать. Ему положительно не везло! Даже в гараже не будет никого, кроме дежурного механика и сторожа-араба и, по всей вероятности, они не смогут ответить на его вопросы.

В полумраке он нашел пиджак, вынул тугой бумажник. Вид крупных банковских билетов снова вернул ему уверенность. С такими деньгами можно было позволить себе быть небритым и ходить в мятой рубашке.

Как ни старался он не шуметь, все же в спальной проснулись, и Жермэн спросила вдруг испуганным голосом, повидимому забыв, что сама стелила ему на диванчике: — кто там? — Потом вспомнила: — Ах, месье Владимир! . .

— Я ухожу, — сказл он хриплым шопотом, — не будите Жака.

Жермэн показалась в четырехугольнике двери в ночной рубашке, которую она держала рукой на груди, в папильотках в редких волосах, безбровая, заспанная, злая, совсем непохожая на вчерашнюю Жермэну.

— А кофе? — Она все же была хозяйкой дома и не могла так просто отпустить гостя.

Но он уже открыл дверь на улицу.

Холодный воздух сразу его освежил и подбодрил. Вообще все было бы очень хорошо, если бы не болела голова. Ну и конечно, то, что он был небрит и в грязной рубашке. С ним этого не случалось, пожалуй, со времен

гражданской войны в России, и он чувствовал себя каким то ущербленным.

День обещал быть теплым и солнечным, редким для февраля месяца в Париже. Для шоферов такси должна была быть хорошая работа с любителями бегов и скачек.

Как глупо все это с ним случилось! — он представил себя за рулем автомобиля и у него защемило в сердце.

Он выпил кофе в ближайшем открытом кафэ и спросил далеко-ли до станции метрополитена. Ехать подземной дорогой он не собирался, но почти всегда около головных станций метрополитена находились постоянные стоянки такси.

Вспомнил, что нужно сначала позвонить в гараж и попросил телефонный жетон.

На вызов долго не подходили, и он уже начал отчаиваться, потом недовольный голос спросил, кто звонит и в чем дело, заранее предупреждая, что в гараже никого нет и поэтому никаких вызовов не принималось.

— Ах, это ты Владимир? — оживился сразу голос, — а мы думали... — голос запнулся.

— Кто говорит? Кто у телефона? — у него страшно билось сердце, — ага, значит, и эти! — Кто у телефона? — ведь вот даже не хочет сказать!

Но голос поколебавшись, ответил: — Здесь Поль, механик и со мной только Али... — потом, сделавшись еще более нерешительным, голос прибавил: Ты бы приехал, Владимир. Здесь всякую ерунду несут на твой счет!

— Какую ерунду? — Он не спрашивал, а рычал в телефонную трубку, раздираемый бешенством и страхом. — Отвечай же! Какую ерунду!

— Да вчера приходил один тип, — нехотя начал объ-

яснять механик, — говорит, что твой приятель... ну и говорит, как ты... словом, твой соотечественник...

Дальше все было понятно, не стоило и слушать.

— Где машина? — крикнул он в трубку. — Где моя машина?

— Машина? — переспросил голос. — Твой тип как раз приходил насчет машины. Говорит, что ты пропал, а машина стоит перед домом. Дверцы заперты. Не бить же стекла! Да и контактного ключа нет. Патрон позвонил в префектуру.

Итак, все рушилось. С ненавистью он представил себе Федино длинное лицо, — в корпусе за это лицо когда то прозвали его ишаком, — налитое тревожной важностью. Мой друг, машина моего друга, комната моего друга, здоровье моего друга... Тьфу!.. Теперь его полиция искала по всему Парижу, а полицейский инспектор, допрашивавший его в пятницу, получил, наконец, свое доказательство.

Он повесил трубку с такой силой, что едва не сломал кронштейн .

У стойки заказал себе еще рома. Что делать, что делать? Он весь дрожал от волнения и отчаяния. Даже равнодушный и ко всему привыкший хозяин внимательно на него посмотрел.

Может быть полиция сообщила уже повсюду его приметы? Хорошо, что по воскресеньям не выходят информационные газеты! Федя способен был дать им его фотографию.

Хозяин кафэ, повидимому, еще ничего не знал так как спросил, даже участливо, не плохо ли у него с сердцем и, если плохо, то у него имелись на этот случай пилюли и капли. У него самого сердце было больное от жиз-

ни, от старости, от войны и от этого, конечно, — он рукой показал на батарею бутылок на полках сзади стойки, — что поделать? Такая уж у него была профессия! Зато вот печень, как ни странно, была в полном порядке. А так, в жизни, у каждого было свое и уж лучше было умирать от сердца, чем, скажем, от рака или чахотки.

IX

Звенело высокое, безоблачное небо. Сначала тихо, серебряными колокольчиками, и каждый колокольчик был слышен в отдельности. Но по мере того, как шло время, как все выше и выше поднималось в бледном февральском небе неяркое зимнее солнце, постепенно окрашивая его мягкими пастельными тонами, колокольчики звенели все чаще и чаще, и звон их делался все выше и выше, понемногу сливаясь в печальный и торжественный аккорд.

Аккорд следовал за аккордом и каждый последующий был тоном выше предыдущего, пока какой то из них не достигал совершенно нечеловеческой звонкости, от которой останавливалось сердце, и тогда замолкали колокольчики. Потом они начинали звенеть снова, на октавы и октавы ниже, и опять он со сладкой жутью ждал их наростания. Было очень похоже на галлюцинации в детстве. Когда у него болел животик и вечером поднималась температура.

Старая машина с резкими рессорами везла его по булыжным мостовым северных пригородов. Тянулись унылые заводские корпусы, серые заборы с неуклюжими и безграмотными призывами заводских ячеек освободить какого то флотского кондуктора, приговоренного буржуазией к пяти годам тюрьмы за пропаганду про-

тив войны в Индокитае, или обращенными к американцам, которым предлагалось отправляться домой. Вперемешку с обыкновенной заборной литературой.

Несмотря на праздничный день, кривые улицы с узкими и неровными тротуарами перед низкими бесстильными домами с грязными, плохо оштукатуренными фасадами, были пустынны. Только у цинковых стоек кабаков толпились уже утренние клиенты, и худые арабы в парусиновых туфлях на босу ногу, небольшими группами, неподвижно и, казалось, бесцельно маячили на перекрестках.

Старик шофер с белыми усами и багровым носом, наверное еще из парижских извозчиков времен до первой мировой войны, вез медленно, что-то бормоча себе под нос и постоянно сплевывая в открытое оконце кабинки.

Было хорошо, что он вез так медленно. И было ужасно знать, что как бы медленно он ни ехал, все равно, рано или поздно, завизжат старые тормоза и машина остановится, и заглохнут серебряные колокольчики детских галлюцинаций, от которых сладко останавливалось сердце.

Адрес мало кому известной и очень дорогой клиники для душевно-больных дал он старому шоферу машинально, выкопав его как то вдруг в глубинах подсознания. Давно, еще задолго до войны, он отвез туда как то молодую женщину, нанявшую его на одной из тихих улиц Нейи. Она везла с собой целый ворох дорогих зимних цветов и всю дорогу держала платок у глаз. У ворот клиники попросила его подождать и он тогда колебался. Не такая профессия шоферская, чтобы,, вот так, без гарантии, доверять клиентам, даже хорошо одетым, даже с бриллиантами на пальцах. Очевидно она поняла,

так как раскрыла сумочку и протянула ему крупный кредитный билет. Он начал отказываться, чувствуя, что густо краснеет и билет упал внутрь кабинки. На последней ступеньке лестницы, перед тем, как позвонить, она обернулась в его сторону и улыбнулась.

Оставалась она в клинике часа полтора, а он, отложив в сторону русскую газету с захватывающим романом фельетоном — мысль о пассажирке развлекала его и мешала читать — пытался вообразить себе ее драму. И она сама, и тот, к кому она презжала, наверное принадлежали к самым высшим слоям общества, к которым сам он не принадлежал, даже до революции. Может быть даже к знаменитым двустам семьям, которые, как говорила революционная пропаганда, правили Францией. И ехала она на анонимном такси, чтобы никто не знал, что наследник каких нибудь плавильных печей или медных рудников не охотился на львов в Южной Родезии, а сидел в сумасшедшем доме под Парижем.

Кем он был для нее? Мужем, Отцом? Любовником? Последнее предположение было самым романтическим И он совсем не был наследником плавильных печей, а зарвавшимся дельцом, авантюристом. И прятался в сумасшедшем доме от судебного следователя. Может быть она привезла ему сегодня заграничный паспорт на чужое имя, и сегодня же вечером он тайком уедет в Бельгию, сядет в Антверпене на пароход, идущий куда нибудь в Венецуэлу или Никарагуа? Хорошо было бы дать ей понять, что они могли рассчитывать на него, что он может отвезти их на вокзал, или даже на самую бельгийскую границу.

Но она вышла из клиники с уже высохшими глазами, успокоенная и вернувшаяся на землю, и больше не улы-

балась шоферу такси, а сухо приказала отвезти ее на площадь Св. Магдалины и остановиться около кондитерской с мировым именем. Очень скупо дала на чай. Он медлил отъезжать в надежде, что она обернется и улыбнется, как улыбнулась на перроне клиники, но она скрылась в стеклянном барабане дверей, равнодушная и чужая.

*

* *

Для дежурного врача все было совершенно ясно. Обросший седой щетиной человек, в мятом костюме скверного покроя и в грязной рубашке, страдал манией преследования и находился в состоянии острого кризиса. То, что он говорил относительно убитой и брошенной в воду женщины, могло быть и правдой, хотя ничего подобного за последние дни в газетах не было.

Человек, иностранец по выговору, никак не хотел сказать, каким образом он узнал адрес клиники, и на все вопросы только хитро улыбался. Все это было чрезвычайно неприятно, и нужно было от него поскорее отделаться.

Доктор был еще совсем молодым человеком и только недавно перешел из знаменитого психиатрического госпиталя в частную лечебницу, соблазненный тройным окладом, спокойной работой и полным отсутствием ответственности. Поэтому он не мог еще относиться безучастно к тем редким больным, которых ему приходилось встречать в клинике. Старый, грузный и веселый банкир, циник и гастроном, всегда его задерживал в часы утреннего обхода. По утрам визитов не полагалось, и он скучал.

— Все старо на этом свете, молодой человек, — говорил банкир, наливая две рюмки портвейна, — настоящий, не французский, — прерывал он сам себя, — наше отечественное порто ужасная дрянь. Итак, все старо и все уже было. Меняются только формы. При Людовиках существовала Бастилия, а в наш прозаический век, вот такие учреждения, вроде здешнего заведения. Нет, нет, на считайте меня сумасшедшим и не улыбайтесь! — сам он смеялся и его большой живот колыхался от смеха, — хотя вам и полагается таковым меня считать и прописывать мне бром и прочую мерзость. Но посудите сами — номер одиннадцать — судебный следователь. В семье происходит странное убийство, и, когда полиция оставляет, один после другого, все возможные следы и ей остается только перенести следствие в ту среду, с которой оно должно было начаться, то есть в семью господина следователя, он превращается в номер одиннадцать. Ну чем вам не «собственное правосудие короля»? Или возьмите моего соседа. Надоело человеку слушать всю жизнь советы наследников и чувствовать, как даже в случайном недомогании они с надеждой ищут признаков смертельной болезни. Человек здоровый, только за пятьдесят, всю жизнь любил женщин, в меру играл, думая о наследниках, каких то там внучатых племянниках. А тут, повидимому они повздорили, а может быть и нет. Только проиграл наш герой в Довиле кругленькую сумму, да такую кругленькую, что ему пришлось срочно продать порядочный пакет акций. Вот и сидит теперь здесь. Уж наверное внучатые племянники даже на бирже за ним следили! Разница с Бастилией в том, что туда только сажали, а сюда часто люди сами садятся. — Толстяк явно намекал на себя са-

мого. За ним числилось нашумевшее года два назад злостное банкротство.

Страдавший манией преследования иностранец, шофер такси по професси, показывал деньги, карточку социального страхования, книжку сберегательной кассы.

— Я могу платить разницу, у меня деньги есть, — говорил он почти с гордостью. На его советы обратиться в один из парижских госпиталей — доктор предлагал даже дать ему препроводительное письмо к своему коллеге в Сальпетрьер*) — сумасшедший шофер укоризненно качал головой.

Доктор не рисковал ничем, так как он действительно никого не убивал. Это все были полицейские штучки. Иногда он даже сам начинал в них верить настолько полиция умела так логически их преподнести. Но и у полиции было свое слабое место: цвет волос. Тереза была светлой блондинкой, а утопленница Сюренской плотины — брюнетка. Ха! ха! Вот на чем они сядут. А доказать, что он был сутенером просто невозможно. Каждый гражданин имеет право держать в ящике своего письменого стола любые фотографии. Это совсем не означает, что он ими торгует. Помимо всего сказанного, он, конечно, был болен. Пошаливали нервы, дрожали руки, и доктор имел все основания его оставить.

Он с готовностью выпил успокоительное, смотрел умоляющими глазами, хватал его за руки. Все было настолько ясно, что оставалось вызвать старшего санитара и распорядиться. Палата такая-то, три дня наблюдения, смирительная рубашка на ночь. Но это было совершенно невозможно. Сумасшедший шофер в Бастилии! Всех его денег не хватило бы на две недели пансиона!

*)Известный госпиталь в Париже.

Внезапная мысль его осенила.

— Если я вас приму сегодня, без консультации главного врача, я принужден буду сообщить об этом в санитарный отдел Префектуры. Будет считаться, что вас направила к нам полиция, и вы не сможете выйти из клиники по вашему усмотрению. Кроме того, они отберут у вас право езды.

В какой то степени, то, что говорил доктор, было верно, хотя не касалось частных клиник, и это сознание помогало ему казаться искренним.

Завтра он пойдет на консультацию и, конечно, не в эту дорогую клинику, а прямо к доктору, к которому ему дают письмо. А сегодня нужно вернуться домой, принять перед сном вот это лекарство, постараться рано лечь спать, не пить вина, не выходить. Хорошо было бы провести ночь у друзей. У него, конечно, были друзья среди соотечественников?

Доктор нажал на кнопку и поднялся.

Санитар сейчас проводит его до остановки автобуса. Он будет в обыкновенном городском пиджаке и никто не будет знать, что они вышли из клиники. А завтра... Продолжая разговаривать, доктор вел его под руку к двери.

*

* *

Он сам бы не мог сказать, как очутился на Цветочном Рынке, в самом сердце старого Парижа, в двух шагах от Префектуры полиции. Он сидел на каменной скамье и с наслаждением чувствовал, как постепенно отливала кровь от ног. Перед ним, чуть правее, каменными застывшими кружевами давила громада собора Париж-

ской Богоматери, и на небольшой квадратной площадке перед собором вперевалку прогуливались жирные, ленивые голуби. Грозил кому-то императорским скипетром бронзовый, бородатый Карл Великий,и голуби сидели на императорской короне и на крутой конской шее. Редкие февральские туристы фотографировали друг друга на фоне тысячелетнего собора и, закинув голову, рассматривали детали центральной розетки, совсем кружевной по тонкости и геометрической точности исполнения, и каменных химер, разъеденных веками дождей, потерявших форму и от этого казавшихся еще более чудовищными.

Было тихо и почти пустынно. Только по бульвару, соединяющему правый берег с Латинским кварталом, не останавливаясь проносились машины и грузные, зеленые автобусы, лязгая коробками скоростей и скрипя тормозами перед красными огнями световой сигнализации. Со стороны Сены, не видной за каменным парапетом набережной с ларьками букинистов и по зимнему оголенными платанами, слышались низкие, похожие на сирену воздушной обороны, гудки моторных барж. На Цветочном Рынке торговки высоким речитативом предлагали свой товар.

Он долго сидел не двигаясь, зачарованный мирным покоем воскресного дня, ни о чем не думая, улыбаясь голубям и солнцу, впивая звуки, запечатлевая бледные, зимние краски. Потом ему вдруг стало холодно и он почувствовал голод. Еще ничего не ел с самого утра. Выпил кофе с ромом, выходя от Жермэн, потом стакан вина в кафэ у Сэнт-Уанских ворот. Теперь он помнил! Санитар посадил его в автобус, который довез его до Сэнт-Уанских ворот. Дальше он шел пешком. От Сэнт-

Уанских ворот до Цветочного Рынка было километров шесть. Вот почему так болели ноги.

Он встал и пошел, хромая, в сторону правого берега. Подошвы ног горели и он шел, выворачивая ботинки внутрь, касаясь земли только краем башмака.

— Цветов для вашей милой, mon brave homme? *) —

Он проходил между двумя рядами цветочных лотков. Толстая, веселая торговка совала ему в руки букет пунцовых роз. — Из Ниццы! За полцены по случаю позднего часа! — Другая, с лотком напротив, прокричала нарочно, с намерением, чтобы он услышал: — Да брось ты его! Не видишь, что-ли? Босяк, бродяга!

Тогда он спросил: Сколько? И вдруг вспомнил о водяных лилиях. Боже, как они назывались по французски? — Подождите, подождите, — говорил он торговке, стараясь найти нужное слово и отталкивая пунцовый букет. Но слово не шло. По всей вероятности он никогда его не знал. Путаясь, сбиваясь, на своем плохом французском языке,он начал объяснять, помогая себе руками, совсем, как тогда, когда описывал Терезе русские генеральские эполеты. Та, первая, которая назвала его mon brave homme, поняла. Поняла и захохотала. Nénuphars? Посмотрите на чудака, который хочет найти nénuphars на Цветочном Рынке!

Хорошо, что она не обижалась, а только раскатисто смеялась, пристраивая букет пунцовых роз в свои корзины.

— И называет nénuphars водяными лилиями! Поезжай в свою страну, мил человек, за водяными лилиями! —

*) Мил-человек (фр). —

**) Кувшинки (фр.).

На него смотрели с любопытством и той неприязнью, с которой французы из народа относятся ко всему иностранному.

Но теперь зажегся уже он сам. Вот почему он был здесь, на Цветочном Рынке! Вот почему, не отдавая себе отчета, он прошел шесть километров по твердому цементу парижских тротуаров. Цветы для Терезы! Вспомнил стихи, которые читала Елена Петровна. Васильки? Если не было водяных лилий, нужно было купить васильков. Французское слово он на этот раз знал.

Торговки хохотали уже целой толпой. Monsieur хочет васильков? Может быть еще одуванчиков? Иностранец в помятом пальто и с трехдневной бородой явно был тронутый. По качеству материала пальто и костюма, хотя и помятых и грязных и, в особенности, по добротности ботинок, странный тип, кончено, босяком не был. — Нет, мил человек, и васильков нет! — продолжала забавляться торговка. — А вот лилии, пожалуйста! Белые! Прямо для свадьбы! Только побриться бы не мешало — прибавила другая — а то невеста сбежит из под венца со страху.

Лилии? Как не заметил он их раньше? Серебристо-белые, похожие на трубы средневековых герольдов, они лежали в корзине стройными и длинными пучками.

— Дайте мне лилий, — сказал он. Тереза француженка и, конечно, ему простит, так как знает, что ни кувшинок, ни васильков в Париже достать он не мог.

— Сколько вам? — Торговка спросила еще недоверчивым тоном, но уже на «вы» и перестав смеяться.

Ему нужно было все. — Да, да! Вся корзина! Она не ошибалась.

— Вместе с корзиной? — Нет, он понесет цветы в руках.

В четырехугольной из камыша корзине, было дюжины три стеблей. Он заплатил, не торгуясь, вытаскивая смятые билеты из всех карманов, и пошел в сторону Сены и собора, с трудом двигая вывернутыми ногами. Торговки Цветочного Рынка молча смотрели ему вслед, вдруг почувствовав чужую трагедию. Только одна, та самая, которая назвала его босяком и бродягой, и которой было обидно, что она так легкомысленно упустила такого интересного покупателя, начала говорить что-то язвительное по адресу сумасшедшего иностранца. Но ее никто не поддержал, а одна сказала даже: — Ты бы заткнулась, Мария, язык у тебя, как у гадюки! Сами все видим. . .

*

*   *

Он шел, зарывшись лицом в холодные цветы, машинально следуя геометрическим линиям тротуаров и уличных переходов. Около самого собора повернул на мост, перешел на левый берег и сел в скверике около старинной церковки Св. Юлиана. Сквер был пуст, как всегда в зимнюю пору. Летом здесь грелись на солнце нищие старики и играли в пыли чумазые дети, а ночью спали на чахлой траве лохматые бродяги, пьяные от скверного красного вина и от звериной усталости.

Теперь, кроме него самого, в сквере был только один посетитель, молодой человек чахоточного вида, в черном пальто с бархатным воротником, какие были в моде лет двадцать тому назад, с давно нестриженными волосами и небритыми щеками, в потерявших форму и цвет бо-

тинках, с печатью безнадежной и трагической нищеты на всем. На пальто и на щеках, на нечищенных ботинках и на посеревших от грязи черных волосах, на худом лице и в голодных глазах. Человек, не мог быть профессиональным парижским бродягой, да и по типу он не был французом. Венгр? Румын? Испанец: Жертва второй мировой войны, как сам он был жертвой первой?

Только он не очутился на каменной скамейке парижского сквера с печатью гибели на чахоточном лице. У него была собственная машина и квартира на его имя в новом доме с лифтом до восьмого этажа, он исправно платил налоги и ездил на каникулы. В сберегательной кассе у него всегда были деньги.

А этого молодого парня, венгра или румына, Париж раздавил. Если дать ему сейчас немного денег, он, конечно, утолит свой голод, но завтра будет опять сидеть на холодной каменной скамейке сквера. Когда он упадет на улице от голода, или чахоточной температуры, его отвезут в госпиталь и, конечно, будет уже слишком поздно.

И не ему было интересоваться первым встречным неудачником, к тому же венгром, или румыном. У него были свои дела и свои собственные неприятности. Вот хотя бы вся эта история с Терезой!

Имя Терезы заставило его вспомнить о цветах, которые он продолжал держать на груди холодной, душистой и тяжелой грудой. Он с усилием поднялся и несколько стеблей упало на землю. Он нагнулся, подгибая колени, тяжело дыша, с трудом заставляя повиноваться усталое и старое тело, привыкшее к неподвижности и сидячему положению. Две-три монеты выпали

из кармана брюк и одна из них покатилась быстро и легко- как будтобы пущенная чьей то рукой в сторону скамьи, на которой сидел чахоточный. Он видел, как человек остановил монетку ногой и прикрыл ее ботинком, вытянув для этого неестественно далеко ногу, отчего стало видно, что у него не было чулок, и что на полосатых панталонах висела бахрома. Почти сейчас же ему пришлось встать, чтобы не оставаться в неудобной и неестественной позе, и он поднялся, худой, высокий, нелепый.

Холодное бешенство овладело Владимиром. — Ах, так? — Он забыл об упавших лилиях, о других оброненных им монетах. — Даже этот жалкий оборванец, едва стоявший на ногах, с ним не считался!

Шатаясь, продолжая прижимать к груди тяжелый букет, он подошел к чахоточному человеку и остановился в пяти шагах.

X

И долго два несчастных молча смотрели друг на друга. Со злобой и страхом. С мольбой и ненавистью. Даже без удивления. Сумасшедший старый шофер такси и умирающий от голода незадачливый беглец из Бухареста или Пешта, как сорванный вихрем с дерева лист, выметенный из своей затопленной войной родины и только на Западе почувствовавший себя политическим эмигрантом, выбравшим свободу, но на самом деле, всю свою недолгую жизнь проживший в мечтательной тоске о том фантастическом и веселом Париже, каким кажется столица Франции во всех Прагах и Ревелях мира, в Кобеляках бывшей Полтавской губернии и даже в соседнем Лондоне, и вдруг получившим возможность попасть в этот необыкновенный город.

Теперь, вместо всех прежних иллюзий, неосуществившихся проектов, обманутых надежд, напрасных ожиданий, оставалась вот эта, прижатая дырявой подошвой, монетка, которую, по всей видимости собирался оспаривать ее законный владелец.

Монетка представляла из себя крутое яйцо и стакан вина у прилавка кафэ, и должно было еще остаться на чашку кофе. И за монетку он был готов на все. Даже на драку с этим стариком, который смотрел на него пожелтевшими от бешенства глазами.

Старик не мог ничего с ним сделать. По всей видимости он был еще слабее его.Кроме того, он никак не мог доказать, что монетка принадлежала именно ему. Нужно было только выждать некоторое время, не сходя с места и стараясь сохранить невозмутимый вид. Старик уйдет и унесет свои цветы. Должно быть он ими торгует где нибудь на Елисейских полях. Счастливец! У него, конечно, есть разрешение полиции. Только почему у него лилии? Такие неудобные для продажи цветы! Фиалки и розы гораздо выгоднее.

Старик был иностранцем, так как плохо говорил по французски. Это было уже лучше: французы, те тыкали себя пальцем в грудь — я француз — с таким видом, как будто бы это качество давало им все виды превосходства, в том числе и юридическое, над не-французом.

Лишь бы он не скандалил и не привлекал внимания полиции! А так, пусть говорит, что ему нравится.

Стараясь быть спокойным и сохраняя невозмутимый и равнодушный вид, чахоточный иностранец смотрел по сторонам: то на парапет набережной и на башни собора на другом берегу реки, то на старинные развалины около церкви Св. Юлиана, то просто вверх, на голые ветки платанов, на перистые тучки в высоком небе. Главное было не снимать ноги с монетки.

Старик говорил о какой то Терезе и явно что-то путал. Никакой Терезы он не знал, и человек с лилиями совершенно очевидно принимал его за кого то другого. Должно быть за своего соперника. Так было лучше. Вот он сейчас убедится, что путает его с кем-то другим, извинится и отойдет. Может быть даже пригласит его

в кафе. Придется нагнуться и сделать вид, что у него расшнуровался башмак.

Чахоточный иностранец сделал усилие, чтобы вежливо улыбнуться и перевел глаза на лицо своего странного собеседника.

— Ты тоже с ними? — говорил человек с лилиями, и землистое и небритое лицо его передергивалось гримасами. — Тебя тоже купили? Только ты напрасно за ними пошел! Вот! — правой, незанятой рукой он вытаскивал из карманов пальто и пиджака смятые кредитные билеты. — Вот! Видишь? Я богатый! У меня деньги в Сберегательной кассе! У меня квартира и своя машина! Только мне больше ничего не надо, так как Тереза утонула. И цветы тоже для Терезы. Может быть она даже не утонула, а просто ходит по тротуару. Все равно. Цветы для нее. Я должен ее найти и все мне мешают. Ты тоже! Потом мне нужно к доктору. У меня болит голова, а они хотят посадить меня в сумасшедший дом. Ты знаешь, что такое сумасшедший дом? Там бьют, а если ты сознаешься,, то держат всю жизнь. Полиция — тонкая штучка! — старик с лилиями и землистым лицом хрипло и зло смеялся, продолжая мять в руке кредитные билеты, которые он то прятал, то снова вынимал из карманов. — А тебя я насквозь вижу, голубчик! — продолжал он, уже иронически и хитро подмигивая. — Думал, скандалить начну, драться? А тут сразу шпик. Драка в публичном месте? Пожалуйте оба в участок! Там разберутся! Только не на такого попали. И ты просчитался мой друг. Со мной было бы лучше. . .

Он круто повернулся и пошел по дорожке в сторону набережной и реки. Еще несколько лилий выпали из его

рук, но не не остановился и как будто даже не заметил.

Первой мыслью чахоточного человека было то, что он выиграл. Противник не только оставлял поле сражения, но уходил, позабыв про другие монетки. Нужно было обязательно их найти. От голода и волнения ему трудно было сосредоточиться, рябило в глазах, дрожали колени и руки болтались, как у картонного паяца.

С трудом нашел он одну в порыжевшей прошлогодней траве. Она была того же достоинства, как и первая, которую он только что держал под башмаком и, таким образом, сразу удваивала его состояние. Третью он не находил. Вероятно она была из бронзы, то есть, самое большее, в половину стоимости первой и второй, и затерялась в рыжей траве сквера, в которой трудно ее было найти из за ее цвета. С сожалением он оставил поиски, сел на бетонную скамью и только тогда вспомнил про странного старика, рассказавшего ему про Терезу, которая не то утонула, не то промышляла на вечерних тротуарах Парижа. На дорожке сквера лежали оброненные им и забытые цветы, которые он предназначал этой самой Терезе. Сам не отдавая отчета почему он это делает, молодой человек поднялся со скамьи и медленно, с трудом передвигаясь, подобрал лилии. Цветы запачкались и помялись, стебли были поломаны. Он заботливо сложил их рядом на скамье, осторожно стряхнув пальцем грязь с нежных лепестков.

Забавный тип! Спятил из за какой-то Терезы! На сытый желудок в голову лезла всякая гадость! А вот он сейчас предпочел бы бифштекс с жареной картошкой любой красавице, будь она Клеопатрой Египетской. От бифштекса с жареной картошкой мысль перескочила на

кредитные билеты, которые мял в руках старик. Дразнил голодного! Хорошо бы было их у него отнять! Просто в наказание. Тем более, что он хвастался, что у него деньги в Сберегательной Кассе.

Отнять, конечно, нельзя, Но можно было попросить. Сказать: товарищ, я не ел два дня, не спал по человечески две недели, у меня жжет в груди. Я буду вместе с тобой искать Терезу и носить за тобой цветы. И защищать тебя от врагов.

Чахоточный человек сидел и придумывал, что он скажет. У него был уже большой опыт людей. Вначале, когда он только что попал в Париж, и был полон радужных надежд и сознания собственной интересности, он ходил с такими же, как и он, молодыми людьми, наконец обретшими Париж провинциальных вечеров, по редакциям газет и рассказывал то, что хотелось редакторам, и мечтал о том, что напишет книгу, которую переведут на английский язык и издадут в Америке.

Позже он научился жаловаться на свою жизнь дамам-патронессам благотворительных обществ, католическим аббатам и протестантским пасторам, посещавшим больных в госпиталях, ходил на собрания евангелистов и пел псалмы за ужин и место на койке Армии Спасения. Постепенно его переставали слушать и давать деньги, потом просто перестали принимать, и общество помощи эмигрантам из Центральной Европы не платило больше за его комнату в гостинице. Правда, предлагали устроить его в санаторию куда-то в глухую провинцию и без карманных денег. Когда хозяин гостиницы сказал ему, чтобы он убирался и что он получит свой чемодан только после того, как заплатит за зажитые пять недель, и стоял в дверях комнаты, наблюдая, что-

бы он не мог унести даже своей зубной щетки, он боялся, что вот этот сытый, жирный, грубый и беспощадный человек приоткроет жалкое бумажное одеяло и увидит, что на постели нет простынь. Простыни он незаметно вынес неделю перед этим и продал на толкучке у Клиньянкурских Ворот. Комнату его давно не убирали и белья не меняли, и выключили вдобавок электричество. Поэтому исчезновение простынь тогда прошло незамеченным. Но с тех пор, конечно, хозяин подал жалобу в полицию, и он боялся появляться даже на барже Армии Спасения, где можно было провести даром ночь и утром получить горячий суп.

У старика наверное была квартира, на вид он был не из тех, которые врут. Да и зачем ему было врать с карманами полными денег. Пойти с ним и лечь. Хотя бы на полу. У него конечно, топят. Сказать, что Терезой займемся завтра, что сегодня нужно отдохнуть. Сказать ему, что он очень силен в таких делах, намекнуть на знакомства в тайной полиции, но что только завтра он сможет позвонить своему другу-инспектору. А сегодня есть и спать.

Он вскочил со скамейки. Лишь бы не потерять старика с цветами! Старик пошел в сторону Сены и не мог быть далеко. Быстрыми шагами чахоточный вышел из сквера и остановился, с трудом переводя дух. Хорошо, что зрение оставалось прежним и он видел далеко и четко.

Налево, в сторону площади Михаила Архангела, почти от моста начинались ларьки букинистов и около них стояли, или медленно фланировали многочисленные в солнечный день любители старины и неожиданных оказий. Он быстро перебрал глазами все человеческие си-

луэты до самой площади и моста, который соединяет Левый Берег с Севастопольским бульваром и Восточным вокзалом, перенес взгляд на левый тротуар, с его старыми, пузатыми от ветхости, домами и знаменитой на весь мир лавкой подержанных книг, перед которой всегда стояла пробка из покупателей и любопытных и пробежал его взглядом от сквера до площади. Старика не было. По всей вероятности, он пошел направо. в сторону Ботанического Сада и Аустерлицкого вокзала, так как едва ли успел дойти до площади и смешаться с толпой. Чахоточный перешел на тротуар набережной и, стараясь оставаться спокойным, медленно и систематически осмотрел оба тротуара и снова не нашел старика.

Он начал волноваться, вдруг почувствовав, что странный человек с огромным букетом лилий, совсем недавно еще бранивший его в сквере, и у которого он украл деньги — украл только потому, что был голоден, но все же украл, даже просто отнял, пользуясь тем, что был моложе и наверное сильнее, — этот человек был последней его надеждой в этом огромном, прекрасном и холодном городе, где человек человеку был воистину волком, или, в лучшем случае, пустым местом, мимо которого проходят, не обращая на него внимания, — белым пятном, которе только раздражает зрение. Он смотрел во все стороны уже не методически, как еще недавно, а все более и более нервничая, мотая головой с густой копной черных давно нестриженных волос, нелепый в своем старомодном пальто с чужого плеча, тяжелые фалды которого летали, как крылья в такт его движениям.

Он начал уже отчаиваться и утешать себя, что все та-

ки у него в кармане были деньги и что, в конце концов, с паршивой овцы хоть шерсти клок, как вдруг увидел белое пятнышко на мосту, у статуи Святой Женевьевы. Это были несомненно лилии, и темная фигура чуть ниже и рядом, — его старик.

*
* *

Снизу лица Святой видно не было. Его скрывали каменные складки широкой монашеской одежды и только внизу его тускло отсвечивали грязно-кофейные волны реки. От мелкой речной волны каменное лицо покровительницы Парижа играло, казалось живым. Он смотрел вниз, на воду, прижимаясь щетинистой щекой к холодному камню цоколя, почти лежа на широком парапете моста. В темной от тени моста воде он видел свое собственное лицо с короной белых лилий на плече. Лицо странно гримасничало и лилии колыхались на воде, совсем, как кувшинки на Воркслe от ударов весла. Улыбалась Святая Женевьева, и она больше не была каменной Святой, а живой Терезой.

Он знал, что ее найдет. Даже если она не вернется сама. Теперь то он ее удержит! И совершенно напрасно она ему улыбалась глазами, как улыбалась год назад, потому что ей негде было спать и потому, что она была голодна и потому, что он оказался первым встречным. И напрасно думала, что он снова возьмет ее к себе. Он примет ее только на сегодняшнюю ночь. Положит на коврике, на полу. Запрет дверь на ключ. Поведет завтра в участок и представит с улыбкой полицейскому офицеру.

— Получите вашу утопленницу, господин комиссар. . .

и оставьте в покое честных граждан, которые исправно платят свои налоги... Можете взять ее на учет полиции нравов. Это меня не касается. А у себя дома я имею право держать все, что мне вздумается. Вы нашли в моем автомобиле альбом? Допустим! Но,во первых он порваный, а во вторых, и это самое главное, на счетчик надет черный чехол, что, вы это очень хорошо знаете, превращает такси в частную машину которую вы не имеете права открывать без моего согласия, или без особого распоряжения прокурора... Ха, ха! Господин комиссар! Можно идти? Я и так потерял три дня работы, в том числе субботу и воскресенье. Не говоря о том, что чуть не попал в сумасшедший дом и что меня на улице, в белый день, ограбили. Ха, ха! Вам, конечно, лучше знать!.. Только уж очень у вас неуклюжие провокаторы...

— Впрочем, если вы считаете возможным отпустить ее со мной позавтракать, я ничего не имею против. Мне есть, что ей сказать. Да и арестовывать ее вам, собственно говоря, не за что. У вас никаких докательств нет и по закону вы обязаны выпустить ее через двадцать четыре часа, самое позднее. И не думайте, что сможете осудить ее за бродяжничество. Я-то законы знаю. Недаром тридцать лет кручу руль!

Тридцать лет! Вы понимаете, что это такое, тридцать лет? Если бы не эти тридцать лет, у вас не было бы такого удовольствия, как эта история с утопленницей! Я сам бы с ней танцевал! А законы я знаю не хуже адвоката. Вы говорите, что нет постоянного местожительства и никакой профессии2 Неправда! Mademoiselle живет у меня и работать ей не нужно. У меня собственная маши-

на и я плачу налогов побольше, чем рабочие с Рено. Кроме того, Mademoiselle моя невеста. Правда Тереза?

Тереза улыбалась ему из воды уголками рта, смешно морща нос и пожимая плечами. — Она, конечно, ему не верила. Какая из нее невеста? Называл он ее невестой перед полицейским, чтобы выручить.

— Ты мне не веришь? — Он бросил в воду цветок. — А это для кого? Белые цветы? — Воду зарябило от упавшей лилии и Тереза молчаливо захохотала. Течение подхватило лилию и унесло ее под мост. Тогда он бросил еще. — Все не веришь?

Он уже полулежал на широких каменных перилах и, цветок за цветком, бросал лилии в грязную, холодную и страшную воду. И каждый раз, как падал цветок, Тереза хохотала, и непонятно было, издевалась ли она над ним, или смеялась от счастья...

Чахоточный шел по тротуару набережной, стараясь не терять из вида старика с лилиями. Все же, от времени до времени, отдельные прохожие, лотки букинистов, автобусы и автомобили, пересекающие Сену по мосту, над которым возвышалась статуя покровительницы Парижа, вырывали белое пятно букета лилий из его поля зрения. От волнения он спешил, толкал прохожих, не обращая внимания на протесты и нелестные замечания по своему адресу.

Лишь бы не потерять старика! Дальнейшее казалось ему совсем простым, настолько простым, что он о нем даже не думал.

Он уже сворачивал на мост и ему оставалось лишь пересечь его по обозначенному металлическими шляпками гвоздей проходу, когда зажегся зеленый огонь на регулирующем движение семафоре и, скрипя коробками

скоростей, лавиной двинулись на мост автомобили. Он едва успел задержаться, чуть не упав под колеса ближайшей к нему машины. Человек, сидевший за рулем, что-то ему крикнул, но он понял только последнее бранное слово и ответил градом площадных ругательств, подобранных им за все годы пребывания на парижском дне. У автомобилиста было сытое, самодовольное лицо человека, который никогда не задает себе вопроса о том, где и как он будет сегодня есть, и которого дома ждет мягкая кровать и жена. Таких он научился ненавидеть особенно. Больше, чем дам патронесс благотворительных обществ и полицейских чиновников, отказывавших ему в рабочей карте тогда, когда он мог работать.

Поэтому он продолжал выкрикивать бранные слова вслед автомобилисту и на несколько мгновений оторвался от белых цветов и темной спины на парапете моста. И когда он снова перевел глаза к цоколю статуи, там не было больше ни цветов, ни человека. От неожиданности у него замерло сердце. Несколько секунд он ничего не понимал. Что-то кричали люди, показывали на воду. Засвистел полицейский, тревожным переливчатым свистком. Потом, с его стороны моста, в направлении течения показалось белое пятно букета лилий и, почти сразу за ним, другое, темное и компактное, распластавшееся крыльями на желтой поверхности воды.

Он сбросил с себя широкое пальто, еще не совсем ясно представляя себе, что случилось, почему лилии очутились в воде, и что за темное пятно плыло вслед за ними.

Понял он, что делал и почему, когда уже снял пиджак и, нажимая носком на каблук, сбросил с себя ботинки, почувствовал голыми пятками холод цементного тро-

туара. Черное, распластанное на манер раскрытых крыльев пятно было его стариком. Старик бросился в Сену и бросил туда же лилии. Сам же он раздевался для того, чтобы прыгнуть с моста вслед за стариком.

Сиди он сейчас за стаканом вина на мягком диване теплого кафе, он расхохотался бы самым циничным образом, если бы ему сказали, что им руководило бескорыстное желание спасти человека и, что тот, которого про себя он называл стариком и кого он знал всего минут двадцать, сделался ему братом с той минуты, когда он почувствовал, что странный человек с лилиями был еще несчастнее его. Нет! Он прыгнет сейчас в воду совсем из других соображений!

Завтра его фотография будет напечатана в вечерних газетах и ему заплатят по королевски за интервью. Политический беженец из Центральной Европы бросается с моста, чтобы спасти самоубийцу! Сам он больной и без всяких средств, без права работы и без друзей! Одинокий и затравленный! Квартирный хозяин на него налгал: никаких простынь он не уносил.

Полиции придется выдать ему бумаги на постоянное право жительства. Им заинтересуются влиятельные и богатые люди. Молодая и скучающая американка, дочь какого нибудь свиного короля, или, еще лучше, вдова... Сначала только из человеколюбия и из восхищения его поступком... Потом...

Ледяная вода остановила дыхание, как рукой схватила за горло. Все же он вынырнул на поверхность и попробовал плыть. Впереди, уже метрах в двадцати — двадцати пяти, совсем, как кувшинки на тихой речке, колыхались на волне белые лилии. Казалось, что они не плыли, а качались на месте на своих подводных

стеблях. Темное пятно на поверхности, уже едва видимое, неподвижно стояло среди водяных лилий.

Наверху свистели полицейские, что-то кричали люди, выла сирена катера речной полиции; с трудом он поднял руку и выкинул ее вперед классическим приемом крауля, но рука не имела сил забрать воды и осталась на поверхности.

— Придется оглушить его кулаком, — подумал он — и вторично опустился под воду. Когда он снова вынырнул, он уже знал, что тонет. Лилии попрежнему колыхались впереди, крики на мосту слились в протяжное Аааа! — и еще далеко от них, но уже приближался полицейский катер и можно было различить лицо человека, стоящего на носу с багром.

Может быть, еще успеют? — родилась в мозгу спокойная и деловитая мысль перед тем, как он окончательно потерял сознание — хорошо, что старика держит пальто!

San Remo 1955

Цена в США и в Канаде: $ 1.50; в Европе: NF 6,75